

# Анна Матвеева

# ДЕВЯТЬ ДЕВЯНОСТЫХ

Каждому  
свой Париж,  
для каждого –  
свой крест

ФИНАЛИСТ  
ПРЕМИИ  
«БОЛЬШАЯ  
КНИГА»



Анна Матвеева

**Девять девяностых**

«АСТ»

2014

## **Матвеева А. А.**

Девять девяностых / А. А. Матвеева — «АСТ», 2014

Анна Матвеева – прозаик, автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Небеса», «Есть!», сборника рассказов «Подожди, я умру – и приду»; финалист премии «Большая книга» и премии имени Юрия Казакова, лауреат итальянской премии Lo Stellato за лучший рассказ года. Героев новой книги застали врасплох девяностые: трудные, беспутные, дурные. Но для многих эти годы стали «волшебным» временем, когда сбывается то, о чем и не мечталось, чего и представить было нельзя. Здесь для сироты находится богатый тайный усыновитель, здесь молодой парень вместо армии уезжает в Цюрих, здесь обреченной на бездетность женщине судьба все-таки посылает ребенка, а Екатеринбург легко может превратиться в Париж... Произведение вошло в Список финалистов премии «Большая книга» 2015 года.

© Матвеева А. А., 2014

© АСТ, 2014

## Содержание

Жеымо	5
Горный Щит	16
Теория заговора	27
Конец ознакомительного фрагмента.	38

# Анна Александровна Матвеева

## Девять девяностых

*Памяти моего брата Константина*

### Жемымо

Я родился в самом начале восьмидесятых, в Свердловске, в бараке на улице Гурзуфской. Под окном нашей комнаты висел, как полковой барабан, громадный оцинкованный таз. Выбором времени и места рождения судьба сообщила, что в жизни моей не случится не только особенного успеха, но и простого человеческого счастья, которое принято считать его допустимой заменой.

Сейчас, когда те годы, мои детские времена, уже затянуло романтическим туманом, я вспоминаю моменты совершенной радости, которые приходят даже к одинокому и несчастному ребенку.

Один из них – качели. Они стояли во дворе дома номер семь, по соседству с нашим баракком. Новостройка заняла недавний пустырь и выглядела на фоне скромных пятиэтажек, будто атомный ледокол «Ленин» среди самодельных лодочек. У седьмого дома был породистый бордово-серый окрас, квартиры хитрой планировки и, предмет главной зависти окружающих, – лоджии. Каждый житель нашего района, где до прихода человека строящего дремали вековые болота, гордился этим домом – его даже удостоили особого имени. Семёра. В те времена было модным упрощать и огрублять даже самые ласковые и красивые названия: наш район звался «Посадом» в честь улицы Посадской, ближайший кинотеатр «Буревестник» местные переименовали в «Бурелом». Семёра существует по сей день – как постаревшая красавица, прикрывает морщинистые стены и тусклые окна нарядами-деревьями. Вот только качелей, любимой моей «березки», больше нет.

Эти качели были выкрашены белым цветом, а поверху, тонкой кисточкой, мастер изобразил трещины в берёсте, черные штрихи, похожие на арифметические знаки равенства. Равенством во дворе притом не пахло – все знали, что качели поставлены здесь не для барачных детей. И мне даже в голову не пришло бы качаться здесь днем или вечером.

Я приходил к «березке» ранним утром, задолго до первого урока. В нашей комнате спали четверо, и я знал, что после моего ухода в комнате появляется воздух – ведь тетка Ира постоянно говорила про меня:

– Дышать от него нечем! То спит, то ест!

Ветхий ранец прыгал на спине, как накладной горб, – я бежал к пустой площадке у качелей и напевал вначале тихо, а потом всё громче и громче любимый романс тетки Иры, который она исполняла после первой бутылки:

Сад весь умыт был весен-ни-ми ливнями,  
В тем-ных овра-гах стоя-ла вода.  
Боже, какими мы бы-ли наив-ны-ми,  
Как жемымо-лоды были тогда!

В бараке была приличная акустика, каждый звук падал хрустальной каплей, и не верилось, что тетка Ира, «техничка-алкоголичка», умеет так петь. Мне в этом романсе больше всего нравилось таинственное слово «жемымо». Было в нем что-то особенное, соблазнительное, женственное. Может быть, даже – французское. Я не сразу понял, что «жемымо» – это

слуховая обманка, но даже тогда не перестал любить это слово – оно, как пароль, открывало мир, который у меня однажды будет. Я не знал планов судьбы, но, мечтая о будущем, надеялся, что однажды приеду во двор Семёры за рулем роскошной «девятки» цвета «мокрый асфальт». Прижавшись ранцем к спинке качельной сидухи, я отталкивался ногами и взлетал всё выше. Вместе со мною уносились вверх мои мечты.

Вот оно, будущее! Я небрежно кручу руль одной рукой, медленно останавливаясь у подъезда, где живут мои враги-одноклассники Глеб Репин и Виталя Корнеев. Вот они – Репа и Корень будущего – выходят из подъезда, одетые, как бичи из барака. То есть как тетка Ира, ее гражданский муж Василек, мой двоюродный брат Димка и я сам. Не знаю, почему в моих мечтах Репа и Корень менялись с нами одеждой – в раннем утреннем полете над пустынным двором никто не требовал от меня логики и мотивации.

Вот я из будущего неторопливо опускаю тонированное стекло и строго, без улыбки, смотрю на бывших врагов.

Мое лицо в мечтах удивительно походило на лицо дяди Паши Петракова – гангстера по кличке Паштет. Паштет проживал в Семёре, и это был еще один повод для Репы с Корнем, чтобы задирать нос.

Паштет, как большинство свердловских бандитов, был нормальным советским пацаном, родом из спортивной секции. Много кто из них в детстве мечтал стать олимпийцем: быстро бегал, высоко прыгал и метко бил по чужим носам. Но когда на Урал пришли иные времена – точнее, не пришли, а дали с размаху по воротам тренированной ногой... То время перемен упало на пацанов так же внезапно, как ранняя звезда в песне Аллы Пугачевой (еще одна теткина любовь, шла сразу после «жемymo», но впереди многокуплетных песен, одна из которых мне нравилась больше других – про Сеню, который «с чувством долга удалился»). Страна получила *свободку*. Уралмаш, король заводов, на месте встал, раз-два. А профессиональный спорт сейчас же превратился в детское, несерьезное занятие. Впрочем, привычка тренироваться осталась – в любой тренажерке в те годы стояла очередь к каждому станку.

Цеховики шили варёнки и шапочки-«пидорки» из женских рейтуз, на рынках продавались корейские платья с кружевами-перьями – такого же химического цвета, как корейские соки. В узкую щель между Союзом и Западом падали первые плоды свободы – «марсы», «сникерсы», «баунти» и водка «Стопка». И вот тогда, на пути между ларьками – смыслом жизни эпохи ранних девяностых, и деньгами – смыслом жизни для многих во все времена, встали те парни, имя им легион. Почти весь легион ныне – на кладбищах Екатеринбурга: Ширококореченском, Северном, Лесном... Лег он, легион.

Был среди бандитов, окормлявших пионеров коммерции, и наш дядя Паштет. «Ломал» деньги у коммерческих магазинов – «комков», крышевал рынки, при его участии даже был продан первый в области эшелон меди.

В мечтах я видел у себя героическое лицо Паштета – вот только, чтобы оценить эту героику, надо было смотреть на него обязательно в профиль. Линия лба Паштета переходила прямо в переносицу, не образуя никаких простонародных углов. А нижняя губа выезжала вперед, как ящик в сломанном комоде. Через много лет, когда я увидел портреты Габсбургов в Национальной галерее, то понял, на кого был похож герой моего детства.

Одет он был всегда безупречно – кожаная куртка, норковая шапка, темно-зеленые шароваристые штаны, белые «саламандры» и белые носки. Иных в те годы просто не носили – если у тебя были черные носки, ты как бы признавался в том, что не меняешь и не стираешь их каждый день.

Качели уносили меня всё выше. Милая моя «березка»! В такие минуты я забывал о том, что маму лишили родительских прав за пьянку, а папы я сроду не видел, но знал, что называли меня по его желанию. Филипп – имя курчавого певца, похожего на пуделя Артемона: в пору

моего детства он (певец, не пудель) еще не был так знаменит. Он дождался отрочества, чтобы бабахнуть всей своей славой – как из пулемета Дегтярева – по скромной жизни свердловского мальчика. «Киркорыч» – одно из самых частых моих прозвищ в те годы. И всё же, летая, я забывал и об этом, и о том, что теткин сожитель Василек каждый день ищет повода дать мне пинка, а после обходится без повода, пинает просто так. Но когда чья-то рука вдруг резко остановила полет, схватив «березку» за металлический поручень, я тут же вспомнил всех своих родственников, сладко спящих в бараке. Вот вам и жемымо.

Передо мной стоял Паштет во всей своей славе. В ногах его терлась собачка, пушистая и желтая, как маленький стог сена. Собачка смотрела на меня и часто, будто для врача, дышала, улыбаясь. Зубки у нее были мелкие и острые, как битое стекло.

– Здорóво! – сказал Паштет и протянул мне руку.

Я чуть не обмочился от волнения, по ошибке протянул левую ладонь.

Собачка зевнула.

– Погода-то какая! – с чувством произнес Паштет и обвел рукой вокруг с таким видом, как будто сам сделал с утра эту погоду и теперь готов предъявить ее миру. Я кивнул. Погода Паштету удалась. На ветровом стекле его знаменитой машины – первого в городе «опель-кадетт» – желтели распалцованные рябиновые листья, и две-три алые ягоды лежали между спящими «дворниками», как будто их поместили туда специально. В широком небе нежились крохотные, свежие облака. Птицы передумали улетать на юг и пели громко, как по радио.

– Как жить хорошо! – заметил Паштет и потянулся изо всех сил, так что полы его куртки разошлись, и я увидел турецкий свитер, заправленный в брюки, а главное – пистолет Макарова, небрежно сунутый во внутренний карман.

– Слышь, пацан! – адресно обратился ко мне Паштет, отпинывая в сторону собачку. Я уже догадался, что собачка, как и я, не имела никакого отношения к Паштету, она всего лишь хотела *иметь* к нему это отношение. И пользовалась случаем засвидетельствовать свое почтение, преданность и остренькие зубки. – Пусти-ка!

Я поспешно слез с «березки», она испуганно тренькнула. Паштет не без труда уместился на еще теплой сидухе, и вот уже белые «саламандры» отталкиваются от земли, и Паштет летит высоко, почти как я. А потом ему надоело поджимать ноги, и тогда он встал, сунул мне пистолет подержать и начал крутить на качелях «солнышко».

Мы всё еще были одни во дворе. Пистолет показался мне тяжелым, как монтировка Василька. Собачка подхалимски смотрела на нас из-под рябины.

Той осенью Паштету было двадцать пять лет.

Не помню, как он слез с качелей и забрал у меня свой «макаров». «Дворники» очнулись, стряхнули со стекла рябиновые листья. Паштет помахал, уезжая.

Никто бы не поверил мне – разве что Димка, старший двоюродный брат. Толстощекий и добрый, он с невероятным трудом учился, словно каторжник, кротко отсиживал в каждом классе по два года. Таблица умножения никак не давалась ему, хотя по программе у них уже второй год была алгебра.

– Мне бы, Фил, восемь классов окончить, – мечтал брат, – и потом в учагу. На токаря.

Добрее, чем Димка, я никого в своей жизни не знал. Тетка Ира – та только пела как ангел, а нрав имела сварливый, да и поколотить могла. С Васильком они бились нещадно, «до кровей», потом буйно мирились, и Димка спешно уводил меня из дому в такие минуты. Мы с ним сидели на веранде детского сада, выстроенного через дорогу от барака, – смотрели на клумбу, где поднимались длинные, как второгодники, мальвы и по собственному почину выросшая крапива, каждый лист которой казался мне похожим на крокодилю голову. Деревянные половицы веранды пружинили под ногами, Димка, сощурившись, добивал подобранные во дворе

Семёры бычки и мечтал о будущем. У него тоже были свои надежды, все как одна связанные с романтическим произволом улицы.

– Попасть бы в кенты к Паштету, – мечтал брат. – Я бы для него... да я бы, Фил, всё для него делал. Сказал бы – разобраться с кем, я б разобрался.

– А убить? – замирал я.

Димка тяжело размышлял, щеки, и без того красные, как у зимней птички, имени которой я не знал, становились малиновыми.

– Убил бы.

И тут же сворачивал теме шею:

– Я б тебе, Фил, купил бы целую коробку бананов. И «Баунти – райское наслаждение». А матери – шампунь и колготки. А этому козлу, Васильку, отравленного спирта. Чтобы сдох!

Он был очень добрым, мой брат Димка. И я всегда с удовольствием искал для него недокурные басыки – во дворе Семёры подбирал чинарики «Конгресса», который предпочитали Паштет и его люди, и коричневые «Море» бандитских подруг.

Мне нравилось радовать брата. Но в тот день, когда Паштет крутил «солнышко» на качелях, я не успел рассказать Димке о своем приключении – потому что следом меня накрыло еще одно. Словно докатилась вторая волна сентябрьского чуда.

Учительница стояла у доски с таким видом, будто ей не терпится поделиться с нами какой-то важной новостью. Новость она прикрывала от нас своей широкой юбкой.

– Ребята, у нас новенькая! – сообщила наконец учительница и отступила прочь, и за широкой юбкой, словно за открывшимся занавесом, обнаружилась маленькая, но очень красивая, по-особенному ладная девочка.

– Стелла была отличницей в своей школе. И она обязательно будет отличницей у нас, правда, Стелла?

Девочка с каменным именем (а разве оно не каменное? Тяжелое, как надгробие) пожала плечами, словно еще не решив, стоит ли удостоить нас такой радости.

– Подумаешь, – прошипела моя соседка по парте, Вика Белокобыльская, в которую я на днях всерьез собирался влюбиться.

Стелла молча прошла между рядов и села за нами. Я почувствовал себя особенно жалким и дурно одетым: на обувь для меня скидывались чужие родители со всей параллели, а одежду я донашивал за Димкой, и она висела на мне, как «элитный секонд-хенд из лучших европейских бутиков», что повис через пару лет на многих моих знакомых, включая ту самую учительницу.

У Белокобыльской пылали уши – так ей хотелось повернуться и сжечь презрением новенькую. Сразу после звонка, когда Стелла всё так же надменно вышла из класса, выяснилось, что тощие косицы моей соседки накрепко привязаны лентами к спинке стула. И встать с места она не может – ленты завязаны какими-то хитрыми тройными узлами.

Белокобыльская икала и выла, ленты пришлось отрезать учительскими ножницами с зелеными ручками, но Стелла так и не созналась.

– Вы что, с ума сошли? – спросила она у всего класса и у нашей учительницы в придачу. – Зачем мне это надо?

Учительница не нашлась что ответить – я понял это, когда увидел, что она бросила свои драгоценные ножницы на стол вместе с непроверенными тетрадами. Ножницы с зелеными ручками, в святости которых не сомневались даже школьные атеисты!

И еще я понял, что влюбился в Стеллу.

В тот вечер в нашей комнате было почти что тихо. Тетка Ира затеяла *стираться*, в ход пошел оцинкованный таз. Василька где-то носила нелегкая (я представлял себе эту нелегкую громадной бабицей с растопыренными холодными руками), а мы с Димкой пытались починить давно списанный с «большой земли» магнитофон «Романтик-306». Дерматинный

ремень вместо короткой металлической ручки, да и собственно надписи «Романтик-306» уже нет – там выведены белой краской острые буквы “*Metallica*”.

Димка пыхтел, старался, мне было скучно, и я косился на окно, где за кустами боярышника темнели чужие гаражи. Тетка Ира ожесточенно терла белье на стиральной доске, словно не стирала его, а пыталась разодрать в клочья.

– Добрый день! – вдруг раздалось из коридора, и мы с Димкой подпрыгнули. На пороге нашей комнаты стояла очень высокая женщина в белом брючном костюме. За руку она держала девочку, девочкой была Стелла.

– Вы хтось такие? – испугалась тетка Ира, уронив с грохотом свою доску.

– Можно сказать, ваши соседи, – вежливо сказала брючная. – Мы переехали в седьмой дом.

– А-а, – протянула тетка Ира, как будто ей всё тут же стало понятно. Она вытерла руки о шторку, ногой сдвинула в сторону таз.

Брючная что-то шепнула на ухо Стелле и скосила глаза в сторону таза, словно объясняя – вот про это я тебе рассказывала. Стелла и вправду смотрела на таз, не отрываясь. Я надеялся, что меня она не видит – толстый Димка закрывал обзор почти полностью.

– Я показываю девочке, как живут в бараках, – сказала странная гостья. – Видишь, Стелла, так они стирают. Здесь спят. – Она махнула рукой в сторону нашей с Димкой тахты, брат дернулся от неожиданности, и я предстал перед Стеллой, сказав «привет» писклявым голосом.

Стелла подняла брови.

– Этот мальчик учится со мной в одном классе, Надежда Васильевна.

Надежде Васильевне новость не слишком понравилась. А до тетки Иры стало наконец доходить, что к ней пришла не только пара странных гостей, но и вполне реальная возможность заполучить пузырь, не напрягаясь.

– Слышь, Васильна, – доверительно сказала тетка Ира. – Не одолжишь чирик?

Вместо ответа брючная продолжала объяснять Стелле, будто они стояли перед клеткой с медведями:

– И вот так здесь говорят! Такими словами! Теперь ты должна хорошо представлять себе, на что будет похожа твоя жизнь, если не станешь слушаться Надежду Васильевну. Плохие девочки переезжают в барак, стирают в оцинкованном тазу, они пьют водку, спят на грязной тахте и у них рождаются мальчики.

Тетка Ира тем временем смекнула, что идея бутылки не хочет превращаться в бутылку реальную:

– Слышь, Васильна, тебе тут не зоопарк! Шуруй отседова! Или плати, за этот самый, за погляд.

Мне было стыдно, я молчал. Тугодум Димка спросил:

– А почему мальчики – это плохо?

С прочими тезисами странной Васильевны он будто бы согласился.

Гостья медленно, как сытый орел, повернула к нам голову. Какой у нее был нос! Даже отпетый двоечник понял бы на примере ее носа, что такое прямоугольный треугольник. Я и по сей день считаю, что именно в человеческих носах природа хранит информацию о происхождении. Но тогда я, конечно, ни о чем подобном не думал, тем более в таких выражениях. Я был в ужасе и смятении. Никогда еще наша комната не казалась мне настолько дрянной, а сам я – таким жалким. Даже магнитофон с корявой надписью “*Metallica*” не исправлял ситуацию, а лишь только усугублял наше общее ничтожество.

– Мальчики – это проклятие, – объяснила Надежда Васильевна. – Девочки – благословение. И вообще, женщина всегда лучше мужчины.

Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы в дверях вдруг не появилась багряная, как говядина, рожа Василька – нелегкая доставила его сегодня домой необычайно рано. Гости поспешили на выход, и Стелла одними губами шепнула мне какое-то слово.

Димка уверял, что это было слово «извини».

У меня и у Стеллы, девочки, умеющей завязывать тройные узлы и врать в глаза учителю, у нас с ней нашлось кое-что общее. Да, она жила в Семёре, у нее, как вскоре выяснилось, даже была собственная комната. Но Стелла, как и я, осталась без родителей – причем если мои всё же присутствовали в виде физических тел в этом мире, то родители новенькой погибли в авиакатастрофе, той самой, где пилот дал сыну подержаться за штурвал. Надежда Васильевна, несмотря на брючный костюм и геометрический нос, была родной бабушкой Стеллы. Сложно представить себе человека, которому бы менее подходило это уютное, теплое слово!

Моя соседка по парте Вика Белокобыльская назвала Надежду Васильевну емким словом «чиканё».

– Шас одену сапоги, и пойдем! – кричала Белокобыльская на всю раздевалку, а Надежда Васильевна толковала:

– Никогда не говори так, Стелла! Запомни: «одевают Надежду, надевают одежду». Кроме того, сапоги *обувают*. И совсем не обязательно информировать об этом всю школу.

Белокобыльская была для Надежды Васильевны не благословением, а чем-то вроде наглядного пособия. Типа той листовки, что висела в нашей столовой: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, его береги». Конечно, Вике это не могло понравиться, но она помнила изрезанные ленты и пониженные в звании ножницы с зелеными ручками, и потому молчала.

А я однажды с удивлением обнаружил рядом с собой Репу и Корня: они явно хотели что-то спросить. Как правило, недруги не удостаивали меня беседами, сразу били по почкам.

– Правда, что ты кореш Паштета? – спросил Корень. Его батон был одним из первых в районе кооператоров. Репа угрожающе сопел рядом, готовый тут же доказать свою лояльность.

История, как «мы с Паштетом» вместе качались на «березке», давно гуляла по району – я поделился с Димкой, брат от гордости за меня тут же понес новость дальше, и она летала от одной садовой веранды и компании до другой, пока не добралась до моих главных врагов. Как ни странно, они в нее сразу поверили. Хотя и решили переспросить.

Репа и Корень лупили меня с первого класса, это было для них таким же важным ежедневным делом, как кисель с коржиком на завтрак. Доставалось за всё – за имя, за то, что живу в бараке, за мерзкие, с точки зрения Корня, кудрявые волосы, за то, что их родители покупают мне зимние боты. И вдруг выяснилось, что били они меня, в общем, зря, потому что мерзкий кудрявый Филипок оказался корешем самого уважаемого местного бандита.

Когда я кивнул, что правда, и даже рассказал про «макаров», Корень предложил сегодня же пойти с ними «травить собак». Димка в те дни болел, лежал дома, и поэтому я надел (*«надевают одежду»*), с разрешения, конечно, его синюю телогрейку, на спине которой было по трафарету выведено *Kill'Em All*. И побежал к «березке».

Теперь в наших отношениях с Корнем и Репой присутствовала некоторая неловкость – они всё еще по привычке хотели меня бить, но понимали, что делать это уже не вправе. Желания расходились с возможностями, и Репа с Корнем, натужно проявляя ко мне симпатию, внутренне невероятно страдали.

Я нашел бывших врагов на качелях – Корень рассказывал Репе свежую байку про Паштета, и при этом поглядывал на меня, как на учительницу, которой сдавал правило. Пришлось кивать с умным видом, впрочем, я действительно уже слышал эту историю от Димки.

На днях по приказу своего хозяина Паштет бросил гранату в окно одному авторитету. У авторитета был день рождения, пили «Амаретто ди Саронно», именинник погиб сразу, остальных гостей – человек десять – изрядно посекло, а после их достреляли на месте. Как в Древней Индии, на костер в девяностых всходили непременно со свитой. Наш район пребывал по этому поводу в страхе и возбуждении. По этикетным нормам, принятым в Свердловске и Палермо, за гранату Паштету должна была прилететь скорейшая *ответка*. Один из главных, центральной с короткой и звучной фамилией, по слухам, выписал Паштету тормоза. Как и его хозяину, имя которого знающие люди называли только в самых серьезных случаях.

Нам было тогда по одиннадцать, и, хотя у Репы уже росли усы (у Белокобыльской, впрочем, тоже были усы – и она ревела, когда ей об этом напоминали), нет никого глупее мальчишек в этом возрасте.

Уличные собаки мирно спали на канализационных люках, грелись вонючим теплом. Репа подошел к ним и начал лаять во всю глотку. Лаял он, по мнению Корня, *профессионально*. Собаки взволновались, принялись гавкать в ответ. Они были не чета той собачке-стожку – здоровенные дворовые шавки с хвостами, как сабли. Мы стояли и лаiali друг на друга, а Корень еще и пытался ударить одну из собак палкой с гвоздем, которую он рачительно принес с собой.

– Ну-ка прекратите! – приказал какой-то мужик: он вышел из подъезда с помойным ведром и бультерьером, похожим на хмурого злопамятного поросенка.

– А чё, если они первые к нам лезут, – заныл Репа. – Мы ничё не делали, они сами начали. – Ныл Репа тоже профессионально, мужик махнул рукой и двинулся к мусорным контейнерам. Бультерьер семенил с ним рядом и не мог оглянуться, даже если бы хотел, – точно как свинья.

Я загляделся на бультерьера – Димка рассказывал, что многие заводят их специально для боев. И, пока я смотрел на него, одна из шавок без лишних звуков вцепилась в ногу Репы.

Как он закричал! До сих пор у меня стоит в ушах этот крик – вопль искренней боли. Корень бросился прочь, за ним неслась и лаяла собачья стая. А я схватил палку с гвоздем и, зажмурившись, саданул по лохматой морде с черными ушами. Я не думал, что делаю, – шавка вполне могла еще яростнее сжать челюсти, но это был щенок, инстинкты у него пока что не окаменели, и потому он выпустил ногу. Репа тут же повалился на землю, с помойки к нам бежал мужик, его хмурый бультерьер скалился, чуя запах крови.

И здесь мой героизм закончился – я вспомнил, что живу в бараке и что мне нечего делать во дворе Семёры. Пока мужик еще не добежал до нас, я метнулся, как пес, вправо-влево и юркнул в ближайший подвал. Двери в подвалах моего детства всегда были открыты, и я много раз спускался в этот смердящий мир – смердел он даже в Семёре. Крысы, кошки, бомжи, картежники, даже гроб, стоящий в закуте, – в подвалах Посада было интереснее, чем в самом загадочном сне. Но в этот раз мне было не до гроба. Я прислонился к влажной стене. Где-то рядом капала вода – каждая капля звучала, как нота. И, хотя кроме этой капли всё вокруг было тихо, я, дитя барака, наследный принц бывших болот и претендент на обладание оцинкованным тазом, всегда чувствовал чужое присутствие.

В подвале был кто-то еще, и ему было очень важно остаться незамеченным.

А я влетел сюда, бахнул дверью – думая лишь о том, чтобы бультерьер с хозяином не нашли бы меня и не устроили публичную разборку с участием Василька и тети Иры.

Поднялся по лесенкам, выглянул в дверь, она скрипнула. Репу уносил на руках в дом его отец. Мужик с бультерьером грозно озирались, и бультерьер, клянусь, скосил свои пороссячьи глазки в мою сторону. Нет, выходить было нельзя.

И тогда я снова спустился вниз, но уже невесомой, бесшумной походкой – ей обучил меня в минуту доброго затишья Василек, которого нелегкая занесла однажды к ворам. Настоящего вора из теткиного сожителя не получилось, но кое-что он помнил и порой проводил для нас с Димкой небольшие мастер-классы. К примеру, я до сих пор умею «ломать» деньги.

Тихо прошел мимо закута с гробом, спугнул крысу – но она тоже была воровской породы и шмыгнула почти незаметно, будто газетка прошелестела на ветру. У третьего с краю подвального окошка стоял человек, неподвижный, как памятник Свердлову. И я не знаю, что осветило его фигуру в тот момент – луна ли, свет ли фар «девятки» Репиных, помчавшихся отвозить искусанного сына в травму, – я не уверен ни в луне, ни в фарах, но точно знаю, на чем бликовал этот свет. То был символ эпохи – калаш.

Человек не видел меня и не слышал, а я прилип к стене, чувствуя, как намокает от пота Димкина телогрейка. Тот, с калашом, мог учуять запах, и потому я двинулся в обратный путь, мимо гроба, по тюфячной вате, раскисшей под ногами и превратившейся в скользкую дрянь.

Несложно было догадаться, кого поджидал у окошка человек с автоматом. Уж наверное не любимую девушку!

Я бережно прикрыл дверь подъезда; сквозняк приподнял бахрому бумажных объявлений и опустил ее, как занавес. Собаки уже вернулись к своим теплым люкам и спали на каждом по две.

Во двор Семёры въезжал «опель» Паштета, из окон грохотала музыка, ымц-ымц-ымц. Рядом с Паштетом сидел мужик, сзади – две девчонки.

Я кинулся наперерез, Паштет едва успел затормозить. На нем был исландский шарф, почему-то я это заметил и запомнил.

– Дядь Паша, в подвале киллер! С калашом!

Ногу Репе зашили, но дворняга умудрилась повредить ему что-то важное, и Репа теперь сильно хромотал, и столь же сильно этим гордился – врал всем, что это не собаки, а пуля, предназначенная Паштету. Некоторые верили. Из-за хромоты Репу впоследствии забраковали на медкомиссии, и он не служил в армии, в отличие от своего друга Корня – отличие было ключевое, потому что Корня убили в Чечне.

Паштет, по слухам, скрывался где-то в Венгрии. А я целый год после встречи в подвале писался в постель. Тетка Ира заставляла выносить матрас на улицу, и Димка впервые в жизни начал меня стесняться. К тому времени он уже был в «пехоте», выполнял мелкие поручения кого-то из уралмашевских – его мечты сбывались, но судьба вдруг вспомнила и о моих. Однажды в дверь барачной комнаты постучался мужчина, весь, от макушки до носков ботинок, словно бы выделанный из тонкой, мягкой, красиво примятой кожи. Голос у него был такой, что всем, кто его слышал, мучительно хотелось откашляться.

Гость огляделся, и, поправив на носу очки, закрепил их пальцем, словно бы приклеил к нужному месту.

– Здесь проживает Филипп...? – он назвал мою фамилию, и тетка Ира кивнула:

– Здеся он. Проживает... все мои силы проживает!

Кожаный человек еще раз утвердил на месте непослушную перемычку и начал объяснять тетке Ире, что меня хочет усыновить один очень богатый и влиятельный человек. Ей всего лишь нужно подписать некоторые бумаги, и она сможет получить за свое согласие немаленькую сумму.

Тетка Ира недоверчиво слушала:

– А на кой он влиятельному-то? Золотой, что ль? Он, слышь, по ночам ссытся.

Кожаный человек сдернул с носа непокорные очки, и, честное слово, хотел швырнуть ими в тетку Иру, но передумал и вежливо спросил, согласна ли гражданочка такая-то расстаться со своим племянником?

Вечером мы сидели за столом, и тетка Ира с особенным чувством пела мой любимый *жемьмо*. Василек смотрел на меня подозрительно, как на полную бутылку, которая только что была пустой. Димка шлялся где-то до поздней ночи, пришел, когда я уже спал.

А потом началась моя новая жизнь, за которую, как я полагал, следовало благодарить Паштета. Таинственный усыновитель повелел отправить меня в частную школу для мальчиков в Лондоне, и через месяц кожаный человек, велевший называть его Андреем Сергеевичем, уже должен был лететь со мной в Англию. Был июль, но я сумел попрощаться со всеми своими школьными знакомыми – даже Белокобыльской предложил писать мне письма, и она мило-стиво согласилась. Усики ее совсем не портили, она превращалась в симпатичную девушку. Но что мне было до этой девушки? Главное – передать новый адрес Стелле.

Дверь открыла Надежда Васильевна в белом махровом халате. Провела меня в комнату, уселась в кресло. Бледные ноги, которые я предпочел бы не видеть, она, как специально, закинула одну на другую. Вены, разрисовавшие кожу, были похожи на дождевых червей.

– Ты едешь в Англию? – удивилась Надежда Васильевна. – Я бы поняла, если бы туда поехала какая-то девочка.

– А Стелла дома? – спросил я. На мне был совершенно новый костюм из кусачей серой шерсти, был даже галстук, завязанный лично Андреем Сергеевичем.

– Стелла гостит у приятельницы, – сказала Надежда Васильевна и все-таки укрыла своих червей полкой халата. – Могу передать, что ты заходил, но ее это вряд ли заинтересует.

Я так и не решился отдать странной старухе бумажку с адресом. Тем удивительнее было, что Стелла всё же написала мне в Англию и даже прислала свою фотографию – такие портреты в земляных, ретро-коричневых тонах делали в те годы в Доме быта. Я выслал свою карточку – на фоне «Катти Сарк», с серьезным лицом. Снимал меня лучший друг – Джонни Эшвуд.

Как быстро забылось всё, что было у меня до Англии! Даже когда пришло письмо от тетки Иры (адрес на конверте вывела рука Андрея Сергеевича) – она писала, что Димку застрелили на разборках, а Васильку посадили за кражу, которой он, конечно же, не совершал, – даже тогда я воспринял эти новости так, будто услышал их из телевизора – и они касались кого-то другого, не меня. Я хорошо учился, раз в год фотографировался – это – го требовал таинственный покровитель, занимался греблей, изживал русский акцент. Единственное, что я позволял себе делать в память о прошлом, – это читать в библиотеке старые российские газеты. Однажды на глаза мне попала заметка о том, что бывший криминальный деятель из Екатеринбурга, Петраков по кличке Паштет, был взорван вместе со своим хозяином К...вским по кличке К. в вертолете, в окрестностях озера Балатон. Паштета и К. грохнули два года назад, когда я только привыкал жить в Англии.

Конечно, меня и прежде волновал вопрос: кто был моим таинственным покровителем? Но Андрей Сергеевич вел себя еще извилистее обычного, когда я пытался разузнать у него хоть что-то об этой личности. Я не сомневался, что опекун – это Паштет, спасенный мной от калаша, – но оказалось, что Паштет давным-давно качается на небесных качелях и даже, может быть, крутит на них «солнышко»...

Чем старше я становился, тем чаще обо всем этом думал. Стелла, с которой мы переписывались время от времени, рассказывала, что Надежда Васильевна хочет отправить ее учиться в Сорбонну. Но за год до окончания школы ее странная бабушка умерла.

Я не понимал, зачем мне ехать в Екатеринбург на похороны Надежды Васильевны – ведь я не полетел туда, даже чтобы проститься с Димкой! Но Андрей Сергеевич настаивал, и поэтому я попросил мать Джонни проводить меня в Хитроу. Мне очень нравилась мама моего друга. У нее было еще два мальчика, младше нас с Джоном, и взрослая дочь, она жила где-то в Уэльсе.

– Как вы считаете, мэм, девочки лучше мальчиков? – спросил я по дороге. Мы, конечно, собрали все лондонские пробки.

Миссис Эшвуд расхохоталась, как девчонка.

– Что за глупые фантазии, русская душа? – так она звала меня после одной истории, литературного вечера, посвященного, моими заботами, Достоевскому. – Мужчина и женщина – две части одного целого. Что лучше, правая половина яблока или левая?

У нее был неортодоксальный ум; клянусь, если бы она не была мамой моего друга, я бы на ней женился.

– Знаешь, русская душа, – сказала миссис Эшвуд, пока мы с ней бежали на регистрацию рейса, – с девочками женщинам проще, особенно – *простым* женщинам. Девочки – в той же системе интересов. А мальчики... Им нужно так много! С ними нужно общаться, и еще – их обязательно нужно любить!

Добрая миссис Эшвуд громко чмокнула меня в лоб и подтолкнула к выходу.

Из-за меня похороны отложили на два дня, и мы с Андреем Сергеевичем мчались в крематорий, как на пожар. Надежда Васильевна лежала в гробу – белом, как у невесты. На лбу у нее была повязка, но не с молитвой, как у православных, а со словами «Так умирает Надежда».

Стелла схватила меня за руку, и я почувствовал, что не смогу отцепить ее пальцы – они были как ленты, привязанные тройными узлами к спинке стула.

Бухнула дверь, гроб ушел в печь, будто участвовал в спектакле с крутящимся полом и сменой декораций. Мы вышли из зала, Стелла не плакала, глаза ее блестели.

Андрей Сергеевич протянул мне конверт – я видел в его лице облегчение, что сейчас он может наконец открыть правду.

Буквы скакали перед глазами, как черти.

«...августа... города Свердловска... официально удостоверяю...»

Это было свидетельство об опекунстве и еще какие-то бумаги, подтверждавшие, что Надежда Васильевна была моей опекуней, она же оплачивала учебу в Англии. Последний листок в конверте, даже не листок, а крошечная бумажка, на каких пишут записки неважным людям:

«Девочки – лучше! Пусть у вас родится дочка. И не вздумай обижать Стеллу, а то приду к тебе в кошмарах и замучаю до смерти».

Я боялся посмотреть на Стеллу, но чувствовал, что ее рука опять впилась в мою – пальцы у нее были холодные и почему-то колючие, как чертополох, символ Шотландии.

– Не сработал ваш оцинкованный таз, – сказала Стелла. – Надежда Васильевна хотела напугать меня, а я, назло ей, влюбилась. И уговорила ее тебе помочь. Надо ведь было сделать из тебя человека, Фил. Теперь мы будем вместе, ты рад?

Вечером, после недолгих, но всё равно утомительных поминок, я вышел из Семёры – она показалась мне облезлой и маленькой. «Березки» уже не было, на ее месте стоял актуальный по тем временам «пивной стол». Я на Белореченской поймал частника, и тот, под Аллу Пугачеву и вонь соляры, повез меня на Широкореченское кладбище. Частник ехал вкругаля, его явно вдохновил британский пиджак. Высадил он меня у главного входа на кладбище, и я довольно долго бродил среди могил, пока не вышел к «аллее героев». Надгробные памятники в полный рост, портреты братков – с ключами от «мерседесов», цепями на шее и клятвами «не забыть». Димкина могила нашлась здесь же, его удостоили вполне приличного памятника с портретом. Брат смотрел на меня, глаза в глаза. На полысевшем венке спала, уютно свернувшись, серая, как гранит, собака. Ее не будили ни мои вздохи, ни удары далеких лопат, ни чье-то ясное пение:

Сад весь умыт был весен-ни-ми ливнями,  
В тем-ных овра-гах стоя-ла вода.  
Боже, какими мы бы-ли наив-ны-ми,  
Как жемымо-лоды были тогда...

Как же мы молоды были тогда.

## Горный Щит

*Моей маме*

– Оля, а почему ты сегодня в очках?

– Я без них только сплю, да и то не всегда.

– Прости, никогда не помню, кто в очках, кто – нет. И бороды не помню. Вот у Ленина была борода, как считаешь?

Ольга вытащила десятирублевую купюру из кошелька, показала Татьяне:

– Была. И борода, и усы. Как это можно не помнить?

– Ну, извини! Правда, не помню. А очки у него были?..

Автобус дернулся на повороте, по стеклам хлестнуло жесткой, как банный веник, августовской листвой. Юбки прилипали к ногам и к дерматиновым сиденьям, ехать было еще далеко. Вторчермет. Титова, Селькоровская – раньше здесь жили родители мужа. Лерочка говорила – «Селькоровская», как будто в честь коровы. Татьяна не разубеждала дочку: объяснить ребенку, кто такие сельские корреспонденты и зачем им посвятили целую улицу, да еще такую длинную, у нее всё равно не получилось бы. Пусть лучше будут коровы – они понятные. И ошибку на письме не сделает.

Надо же, у Ольги колготки драные! Стрела – во всю ногу.

Ольга прикрыла стрелу сумкой.

– Ты лучше скажи, серьезно настроена? Потому что Алка тоже интересовалась, и Надежда...

– Ну Оля, вот зачем ты? Я же тебе сказала: мне лишь бы печка была, огородик. Пересидим с ребятами дурное время... Сразу же куплю, если там всё в порядке.

Ольга поправила очки на лице – как холст на стене.

Татьяна не волновалась, что обманут, знала – дом сам ей всё расскажет. Когда она приехала в Свердловск учиться, с первых же дней начала примерять к себе множество разных домов и квартир – и научилась их слышать, понимать, разбирать их истории, как шкафы по полочкам.

Вот, например, нелюбимые дома – всегда печальные, но при этом еще и мстительные, как гарпии. В самый важный момент, да при чужих людях, вдруг распахивают дверцы, а оттуда сыплется личная жизнь. Или еще: берешься за дверную ручку, и она вдруг оказывается у тебя в руке, отдельно от двери. Хозяин не любит свой дом – и дом грустит, плачет, эти пятна от слез – на обоях, на потолке. А если дом счастлив – тогда в нем всегда свет, даже если окна выходят на север. И цветы растут во все стороны, и кот спит в уютном кресле. В нелюбимых домах цветы вянут, а коты прячутся по углам, как мыши.

Татьяна еще на абитуре поняла, что никогда не сможет жить в общежитии, на виду у шести человек, – и сняла комнату в доме на Радищева, рядом с Центральным рынком. Частный сектор, удобства во дворе. В дверном проеме висела занавеска, сделанная из разрезанных открыток: Татьяна пропускала сквозь пальцы картонные кусочки и даже разбирала какие-то буквы – но слова из них никогда не складывались.

Желтые окна свердловских домов нравились Татьяне больше звезд, к тому же звезд всё равно видно не было. Окна мигали, переговаривались, сообщали Татьяне главное: однажды у нее обязательно будет свой дом! И это она лениво выключит свет в кухне и перейдет в спальню, она, Татьяна, а не с трудом различимая тетенька из углового дома на Куйбышева-Белинского. Не очень понятно было, откуда возьмется Татьянин дом – этого не объясняли ни окна, ни звезды. Она спала на старом топчане в тени картонной занавески, вечерами гуляла по улицам и мечтала. Вот здесь будет зеркало. А сюда надо повесить ту люстру, что сияет на третьем

этаже ее любимого дома на улице Воеводина. Ах, Воеводин! Мастер по ремонту локомотивов и вагонов, а также, само собой, революционер и герой, мог ли он знать, что в честь него назовут эту чудесную улицу? За окнами – Плотинка. Подъезды, у которых действительно хотелось размышлять, а не грызть, к примеру, семечки. Под высоким потолком – щедрая люстра, висюльки овальные и прозрачные, как виноградины. Наверное, Воеводину было бы приятно.

Училась Татьяна блестяще – в этом смысле университет ничем не отличался от школы. Мама полагала, что в мире есть всего лишь две оценки – пять и два. Так что у Татьяны не было выбора, кроме как стать отличницей. «Круглой», – спокойным голосом уточняла мать, хотя это уточнение раздражало – представлялся блин с косичками, с глупой ухмылкой. На фотокарточках детского времени Татьяна закусывает щеки изнутри, чтобы казаться тоньше и незаметнее. А еще она писала мелким почерком – к счастью, разборчивым, и грызла хвосты собственных косичек, и не любила петь в хоре, хотя у нее, к несчастью, был голос.

Танечка не была счастлива в детстве, над ней постоянно что-то будто бы нависало – как просевшая палатка или декорация, которую устанавливали на скорую руку. У ее мамы тоже не было счастливого детства – но тогда вообще такой моды не было: никто не говорил, что дети должны быть счастливы! Жили как-то – и на том спасибо.

Мама часто повторяла, что смысл жизни – в труде. То же самое, немного другими словами, говорили по радио и в школе. Но палатка всё равно провисала, и декорация готова была обрушиться при первом же чихе. Хотелось быть счастливой без всяких условий, но этого никто не обещал – особенно детям.

Трудились в ее семье много. Даже фамилия Рудневы напоминала Трудневых, а те, в свою очередь, могли бы чисто по созвучию походить на Трутневых, но это уже было бы не про Марию Петровну и Степана Макаровича. После смены на заводе, у станка и в столовой, родители спешили домой, где начиналось второе отделение – на огороде. С ближними соседями, укрытыми за невысоким забором Клебановыми, у Петровны и Макаровича шла вечная борьба, кто кого переработает. Клебановы были серьезными соперниками: вставали до петухов, ложились позднее полуночников, еще и старик у них был крепкий, в одиночку окучил как-то всю картошку.

За окном летел неказистый, но милый уральский пейзаж – шеренга берез и горизонт с линией волнистых, низких гор (так подчеркивают определение при синтаксическом разборе).

– Подъезжаем, – оживилась Ольга. Народ вставал с мест, хотя автобус еще мчался – будто боялись, что не успеют выйти. Татьяна заметила табличку: «Горный Щит». В конце года читала со своими последними учениками Бажова. «Деревню-то Горный Щит нарочно строили, чтоб дорога без опаски была». Кто бы мог подумать, что в середине лета позвонит Ольга и скажет, что ее деревенские соседи срочно продают малуху в Щите?

Ольга тоже встала с места и теперь махала юбкой, как веером. От нее пахло, как от теста для блинов, которое только что завели. Автобус накренился, дернулся и вдруг сделал крутой поворот – люди повалились друг на друга, кто с визгом, кто с матом. Ольга устояла и даже промолчала, только очки сверкнули оскорбленно.

Подруги вышли на главной площади Щита – здесь было всё в точности как на любой другой площади большого уральского поселка. Магазин по кличке «Стекляшка», названный так не то за стеклянные витрины, не то за вожаденные напитки, разлитые в стеклянную же тару. Рядом – заброшенный, никому не нужный храм, а напротив автобусной остановки – школа. Татьяна сможет здесь работать, а Лерочка – доучится, ей остался всего год. Митя, если не поступит, пойдет вести труд у мальчиков. Счастье – в труде. Пересидим, прокормимся. Лихие времена не могут длиться вечно. Или могут?

– ...Храм, между прочим, построен по проекту Малахова, – Ольга уже довольно долго, судя по всему, рассказывала, но Татьяна ее не слушала, осознав вот только этот факт, про Мала-

хова. В Екатеринбурге знаменитый уральский архитектор построил себе дом на краю города, а сейчас край города стал центром.

Главная улица в Щите названа в честь Ленина с усами и бородой – по ней и шли Ольга с Татьяной, то вниз, то в горку. Слева блестела речка, процветшая, как полагается в августе, целыми островками. От каждого дома к реке спускался длинный, как трамплин, огород, по периметру окруженный досками.

– А почему деревня называется Горный Щит? – спросила Татьяна. – Здесь же нет гор.

Ольга задумалась.

– Горы есть. Уральские называются. Ты их просто не заметила – они у нас невысокие.

У Ольги уже лет десять был дом в Горном Щите – остался в наследство от бабки мужа. На той же улице, но по правой стороне хозяева затеяли строительство большого дома, а получастка с малухой решили продать. Ольга сразу поняла, кому больше всех в Свердловске нужны изба с огородом в поселке Горный Щит – конечно, Татьяне. Упоминание Алки и Надежды – это так, риторический прием. Изба должна достаться Татьяне: в школе платили гроши, а муж пахал без зарплаты уже год, как, впрочем, и вся страна. Татьяна бралась за любую работу, даже на рынке пыталась торговать, хотя какая из нее торговка? В первый же день выдернули из рук майки, которые дали на реализацию знакомые Алкиных знакомых. Майки – черный трикотаж, золотое напыление. Как надгробные плиты у цыган. Татьяне пришлось выплачивать из своих, просто с кровью выдирала из семьи эти деньги. А ведь она была самая способная из них, профессорша с кафедры стилистики не зря говорила: Татьяна, вам нужно идти в науку, а в школу пусть идет Ольга Нелюбина. Ольга не обижалась на профессоршу, ей не хотелось ни в школу, ни в науку. Она приехала в Свердловск из Бузулука, вышла замуж в конце второго курса – местный парень, математик. Родили двух дочек, Ольга репетиторствовала дома, но без особых стараний. До диплома не дотянула. Татьяна – та дотянула и, как все, по распределению отработывала в сельской школе. Вела там не только рус. яз. и лит-ру, как писали школьники в дневниках, но и немецкий, и даже музыку. Музыкальную школу Татьяна тоже закончила на отлично – благодаря маме, которая свято верила не только в счастье труда, но и в то, что девочка должна играть на пианино, а мальчик – на скрипке. Через год Татьяна вернулась в Свердловск и пошла работать в самую обыкновенную, можно даже сказать захудалую школу на ВИЗе. Опять снимала угол – на Февральской революции, в полуподвале.

Литературу она всегда объясняла при помощи языка – не только русского. И не всегда именно ту литературу, которая была в программе. «Вы только не читайте сейчас “Анну Каренину”, подождите лет до тридцати!» – говорила Татьяна ученикам. Разумеется, на другой день все сидели, уткнувшись в «Анну». В самой фамилии Вронского, объясняла Татьяна, есть что-то неправильное, фальшивое – *wrong*.

Русский же был ее главный, любимый предмет – но и его она вела не по правилам. Причастия прошедшего времени, рассказывала Татьяна детям, вшивые. У отличников рты баранкой: как вшивые? А вы послушайте: приходиВШИЙ, забраВШИЙ. И правда. Вшивые! А деепричастия какие? О, это выскочки и зазнайки, всегда якают: убираЯ, обучаЯ! И в прошедшем времени тоже есть вшивые: задумавшись, сделавши, не подумавши.

Для самых глухих к языку были у Татьяны совсем уж странные секреты и советы, уберегшие, между прочим, не одного детинушку от двойки в восьмом классе. Один из таких секретов – помнить про Вову. Вова скрывался в середине длинных слов, вроде «предчувстВОВАВшая» или «долженстВОВАть». Нашел Вову – пиши и не беспокойся, что сделаешь ошибку.

В рекреации, как называли школкин холл, стоял маленький, точно гном, гипсовый Пушкин – проходя мимо, Татьяна всякий раз гладила его по белым холодным волосам. Не грусти, брат Пушкин!

– Зачем вы его гладите? – спросил родитель девочки Эли из пятого «в».

– Мне кажется, ему здесь холодно. И одиноко.

Родитель впечатлился, потом – влюбился. Дальше случилась неприятная для всех история с разводом, девочку Элю перевели в другую школу, а Татьяне вкатили строгий выговор с занесением в личное дело. После чего она вышла замуж, потому что тоже влюбилась – и родитель девочки Эли стал ее мужем, а также родителем Мити и Лерочки. Сутулый умный Митя и Лерочка, о которой учителя честно говорили, что она звезд с неба не хватает. Разве что в английском.

– А зачем вообще хватать звезды? – смеялась Татьяна. – Пусть остаются на небе.

Элю она упорно привечала, звала в дом – теперь он был у нее, пусть и не такой, о каком мечтала, зато свой, точнее, конечно же, – мужа. Она покупала ей подарки, объясняла про Вову в середине слова, но Эля так никогда и не простила свою учительницу – раньше самую из всех любимую. Она ее так любила! Феей считала и даже не верила долгое время, что Татьяна Степановна, как все, ходит в туалет – пока не встретила ее однажды на выходе из кабинки. На двери была намалевана красная буква Ж, похожая на растрепанный веник.

– ...Вот он, смотри! – Ольга не утерпела, издали показала Татьяне дом. Он стоял на углу и вид имел неказистый. Бревенчатая избушка поставлена, как часто на Урале, на голую землю, на четыре камня. Два окна смотрят на скат и не видную из-за него речку, еще одно – на улицу Ленина-с-бородой. Палисадник окружен забором – как будто лыжи составлены одна к другой. Замшелая шиферная крыша, дряхлые ворота.

Дом угрюмо молчал, не спешил откровенничать с Татьяной. Ему было что скрывать, как, впрочем, и двухкомнатной квартире в Свердловске, куда муж привел ее жить двадцать лет назад. О, то была особенная квартира – злая, разобиженная, несчастная.

Поначалу Татьяна всерьез решила, что квартира ее ненавидит: и полки на голову падали, и поскальзывалась на ровном месте, и вещи пропадали, нужные книги и учебники – вдруг просто исчезали и далеко не всегда появлялись снова.

Мама, Мария Петровна, ставшая к старости верующей, советовала освятить квартиру, но в то же время совсем не по-христиански размышляла:

– А может, сделано здесь на тебя, Таня? Как ни крути, отца ты из семьи увела.

Мама не приняла зятя, она даже внуков любила не так, как могла бы. Татьяну это не печалило – ей сполна хватило маминого внимания, чтобы желать такого своим детям. А квартира боролась с ней целый год – и однажды, когда в очередной раз прорвало трубу в ванной, именно в тот день, когда ждали гостей, Татьяна решила на серьезный разговор.

Выглядело это, конечно, нелепо: беременная Татьяна стоит в коридоре и гладит рукой стену:

– Ну что ты, в самом деле? Почему ты меня не любишь? Тебя обижали, я знаю. Не заботились. Запустили. Теперь всё будет по-другому. Я сама – совсем другая. Хочешь ремонт? В комнатах сделаем побелку и накат. Серебристый. Или золотистый? Какой хочешь?

Квартира призадумалась. Помолчала пару дней. А потом решила поверить хозяйке – и не пожалела. Татьяна с нежностью думала о своем городском жилище – никогда не скупилась на то, чтобы порадовать квартиру подарком. Ну и ремонт, конечно, сделали с тех пор не один. Беленые стены с накатом, модным в семидесятые, опять оклеили обоями, да и те обои – уже в прошлом. На заводе мужу обещали четырехкомнатную, но как-то слишком уж долго обещали – поэтому Татьяна затеяла еще один ремонт. Всё делала, как всегда, сама – потому что умела всё, спасибо маме.

А потом в их чистенькую, добрую, свежую квартирку, как и во все другие дома страны, пришло дурное время. О четырех комнатах и думать теперь не следовало – платили бы зарплату. Так ведь не платили!

Сколько всего случилось за каких-то полтора года! Как это уместилось в такой ничтожный промежуток времени – Татьяна так и не смогла понять. Вполне приличная, по советским понятиям, бедность стала нищетой. Муж превратился в истерика, нужно было ему помогать,

причем срочно, а не ждать от него помощи. То же самое происходило у подруг – Алка однажды с горечью сказала: я в своей семье – мужчина. Я работаю, я учу с детьми уроки, я добываю продукты.

Татьяна долго не хотела бросать школку, но потом ей пришлось выбрать – свои дети или чужие. Решил всё случай. Мама договорилась со своей знакомой – Фарида работала директором продуктового магазина, и Татьяна время от времени получала с черного хода пару банок сайры, курицу или еще что. В тот день ей достались и курица, и яйца, никого не учившие, но дефицитные. Жила Фарида на Уралмаше, этот район был для Татьяны словно бы еще одним, отдельным городом. Она в нем честно ничего не понимала, терялась и блуждала, как в потемках, даже ясным днем. Вот и теперь – вышла из магазина Фариды, нагруженная, и не сразу поняла, куда идти. Бродила по уралмашевским дворам, опускала глаза: навстречу попадались крепкие ребята, только и ждавшие, чтобы сцепиться с кем-то – для начала взглядом. Они так странно ходили – заметно раскачивались при ходьбе, как моряки в кино.

Наконец вышла к трамвайной остановке. Трамваи почему-то не ходили. Татьяна дошла до вокзала, возненавидев по дороге и курицу, и яйца – плевать, кто из них был первым. Чтобы остыть, успокоиться, вспоминала зимнюю картинку – маленькая Лерочка прикладывает теплые пальчики к замерзшему стеклу. Вначале делает следы подушечек, а потом – всю остальную лапу, ребром ладони. Получался правдоподобный отпечаток на трамвайном стекле – через этот след отлично было видно, какая черная зимою ночь в Свердловске.

Что будет дальше, непонятно. Чем кормить детей, неизвестно – еще и Фарида сказала больше не приезжать. Нет, надо искать дом – чтобы печка, огородик. Соседка, Любовь Ивановна из консерватории, вон, уже буржуйку купила. Если рубленый будет, бревенчатый, то с печкой не пропадешь. Пересидеть дурное время...

Прокормиться от земли.

Ольга постучала в гнилую калитку уверенно и громко, но открыли им не сразу. Хозяин – с печатью сидельца на лице и с вытатуированными перстнями на пальцах – всё делал подчеркнуто неторопливо. Заросший травой дворик, очерченный навесом, понравился сразу. А вот дом молчал так, словно ему зажали рот. Татьяна почувствовала, что начинает громко сопеть и вздыхать, как бывает, если человек ей неприятен, но слова – под запретом. У хозяйки глаза метались по лицу, как тараканы по грязной кухне. Кроме них при разговоре присутствовала древняя старуха, безмолвная, как индейский вождь, и белобрысый мальчишка лет двенадцати, которого Татьяна решила спросить о чем-нибудь безобидном. И не придумала ничего лучше, чем узнать имя.

– Вова, – шепотом ответил мальчик и тут же исчез с крытого двора. «Вова из середины слова!» – подумала Татьяна и перестала вздыхать. Что, в самом деле, как маленькая? Люди бывают разные. Дома продают не каждый день. За такие деньги их вообще не продают!

Ольга давно вела переговоры, хозяйка с глазами-тараканами возражала, но без особой страсти, а старуха тоскливо смотрела на забор. Морщины на ее лице были глубокие, как истинное горе. Сиделец в разговоре не участвовал, но слушал женщин внимательно и пару раз цыкнул языком. Что это значило – неясно.

Дом отдавали задешево – потому что дед помер, а бабка вот-вот помрет, и нужно срочно делить наследство. Смерть старухи обсуждалась открыто и деловито – присутствием ее никто не смущался. Малуху и треть (не половину, как говорили раньше) огорода уступают Татьяне, а на оставшейся территории построят *нормальный*, как выразилась хозяйка, дом.

– Забор вот здесь поставим, – показала хозяйка, когда они вышли на огород. Татьяна проследила за ее рукой – и почувствовала эту линию на собственной спине, будто кто-то провел пальцем вдоль позвоночника.

Ольга бубнила недовольно: земля у вас серенькая, вот у нас, на той стороне, чернозем. Хотела выгадать еще какую-то скидку для нищей подруги, но Татьяна не чувствовала благодарности. Ее удивило молчание дома и эта несчастная старуха, что молчала с ним в унисон... Татьяна и сама не понимала – хочет ли теперь его покупать? Хотя глупость какая, конечно, хочет! И этот Вова, с его белой головенкой, с его шепотом – тоже каким-то белым, неслышным – хороший ведь знак! Белый шум, Горный Щит – всё складывается удачно. Всё будет хорошо, потому что слишком уж долго всё было плохо!

Они договорились, Ольга и хозяйка с глазами-тараканами, а прочие изображали, что им будто бы всё равно – хотя внутри ликовали и те, и другие. Хозяева знали, что малуха не стоит даже таких денег, каких они просили, а Татьяна поверить не могла, что у нее теперь есть свой кусок земли. Да что там – кусок Земли! Можно выстоять. Картошка, верный друг, не даст пропасть.

– Спасибо тебе, Оля! Я всегда буду теперь помнить, что ты – в очках.

Одно только смущало Татьяну – дом так и не сказал ей ни слова.

На следующий же день, как были подписаны документы, Татьяна повезла детей знакомиться.

– Вот наша избушка.

– Фу! – честно сказала Лерочка. – Какая-то старая развалюха. Я думала, будет дом, как у Полинки в Верхней Сысерти. А это какой-то Горный *shit*.

Дочку учили английскому, брали уроки у молодой выпускницы иняза – она заставляла Лерочку смотреть кинофильмы *в оригинале*.

Татьяна незаметно погладила бревенчатый бок дома – извинилась за Лерочкину грубость. Митя был умнее, тактичнее:

– Дом как дом. Пойдем, мам, покажешь, что нужно делать.

«Делать» – отныне это было главное слово в жизни Татьяны. Наконец родители могли быть довольны своей дочкой – она работала в Горном Щите так, что им не было стыдно за нее на том свете. Где они, возможно, всё так же соревнуются с ближайшими соседями.

Той осенью, когда купили дом, Татьяна устроилась репетитором к цыганской девочке. Всё было предельно серьезно: коттедж из красного кирпича на улице Шекспира, мужчины, не снимавшие норковых шапок даже дома, золоченые люстры лучше оперных. Здесь торговали шубами – они лежали прямо на полу, как дань, мягкая рухлядь, ясак, оторванный от сердца. В доме было непостижимое количество женщин – и у каждой имелась собственная комната, отделенная от общей, *зало*, цветными шторами. Посреди зала стоял видеоманитофон, с шумом перематывающий пленку, – смотрели цыгане только индийское кино.

Татьянина ученица – бровастая девочка Зарина – училась плохо, у нее не было ни способностей, ни желания. Цыгане часто отдают детей только в начальную школу – читать-писать научат, и хватит с них. Но Татьяна работой дорожила – платили щедро, к праздникам давали с собой банку икры или шмат осетрины в оберточной бумаге. Сделав уроки с Зариной (точнее, за Зарину – этого, как вскоре выяснилось, от нее и ждали), Татьяна прямо от цыган уезжала к Южной подстанции. Там пересаживалась на 110-й автобус – и он вёз ее привычной дорогой в деревню.

Дом в Щите был по-прежнему молчалив, проговорился лишь однажды – да так неожиданно и страшно, что Татьяна не сразу поняла, о чем речь. В один из первых дней после того, как хозяева съехали во времянку, Татьяна обнаружила в сенях картонную коробку с пачкой паспортов. Самые разные паспорта – действующие, с пропиской в Свердловской области.

– Ворованные? – испуганно переспросила Татьяна у дома, но он не ответил. Тогда Татьяна отнесла коробку бывшим хозяевам – по дороге придерживала картонную крышку пальцем, будто опасаясь, что паспорта вырвутся оттуда, как птицы. Потом, конечно, ругала

себя – надо было, наверное, заявить в милицию, но о милиции в девяностые годы говорили примерно в тех же выражениях, что и о бандитах.

Вот так всё и шло у них. Дом угрюмо молчал, а Татьяна – работала. Муж сразу объяснил ей, что он городской человек, что на жизнь в *дерёвне* у него аллергия. «Может, приеду как-нибудь летом», – милостиво обещал он. Лерочка – та была с ленцой, которая становилась год от года всё объемнее и шире – распространялась не только на поступки, даже на чувства, движения души. Татьяна порой удивлялась: как она, с ее педагогическим чутьем, зевнула такую напасть?.. Ну да бог с ними, Лерочкой и ее папой, Татьяна была тогда в своих лучших годах – и готова была радостно угробить их во имя семьи. Помогал ей только Митя – он делал всё без восторга, но и не бежал никакой работы.

Начали с туалета. Хозяева, бог им судья, оставили после себя шаткий переполненный сортир и зловонную кучу вокруг дыры. Сортир снесли, землю разровняли, сверху Татьяна посадила цветы. Место для нового туалета отвели рядом с забором – Митя взял лопату, крикнул:

– Глубоко копать?

– Пока не закопаешься, – ответила Татьяна и тут же испугалась: что это она такое сказала.

– Долго жить собираешься, мама, – сказал Митя.

Наняли мужика, тот построил аккуратную будку – внутри Татьяна покрасила пол, на возвышение с отверстием пристроила круг от городского унитаза, выше оклеила стены из горбыля обоями, которые остались от ремонта Лерочкиной комнаты. Татьяна гордилась этим туалетом больше, чем любой из своих школьных программ.

Соседский Вова мелькал то и дело близ забора, разглядывал, что поделывают на огороде новые хозяева. Заводить разговор не пытался, в отличие от Санчика из дома напротив. Этот мальчик очень нравился Татьяне, а его интересовал, конечно, Митя: дружить со взрослым, да еще городским парнем – мечта! Годами Санчик ровесник Вове, но был приветлив и общителен. Вова, тот даже для приветствия с трудом собирал силы. А Санчик являлся запросто:

– Тетя Таня, я у вас травы для кур возьму – у нас такой нет. – И топал, деловитый, с ведерком к зарослям мокрицы. Конечно, у них нет такой травы – сорной! Татьяна заглянула как-то – да у них огород был чище, чем изба, которую оставили ей жильцы. Она вывезла отсюда столько грязи! Печь, к примеру, была копченой, как старый котелок, – а теперь стала свежей, беленькой. Татьяна даже нарисовала на ней двух ярких петухов – Санчик «искусство» одобрил.

Она сменила рамы, построила новые ворота – «имени Зарины», потому что девчонка окончила четверть на четыре и пять, и благодарные цыгане отвалили «училке» щедрую премию. Пол в доме был выкрашен свежей краской цвета кабачковой икры – магазинной, из банки. Такой, что снимаешь крышку, а на ней, изнутри, – будто бы ржавчина. Митя подогнал друзей, нанял экскаватор и кран – и появился погреб, сделанный по всем правилам. Окна приобрели наличники, и дом стал смотреть веселее. Он постепенно оттаивал, собирался с духом, чтобы заговорить, – но в последнюю минуту каменел и молчал упрямо, как двоечник на экзамене.

А потом началось Это.

Наверное, прописная буква здесь не к месту – но в мыслях Татьяна всегда видела Это написанным через огромное «э оборотное». Длинный, раздвоенный язык – почти жало.

Она приехала в Щит с ночевкой, был, как с утра твердили по радио, день взятия Бастилии. Комары летали по одному, да и слепни вели себя почти прилично – не наседали, лишь изредка тарактели за спиной, как маленькие вертолеты. Татьяна предвкушала неспешный вечер работы – а потом она сядет в доме с книжкой, если останутся силы. И завтра, как подарок, – еще целый день счастливого труда. Приедет Митя с подружкой-однокурсницей – он легко поступил в Горный и сразу же начал встречаться с девочкой. Приятная такая, правда, из Алапаевска, и Лерочка на нее фыркает. Но это мелочи. Девочка славная, и зовут хорошо – Анфиса.

Остывая от духоты автобуса, Татьяна налила себе воды в кружку, списанную из городской жизни за треснувший бок. «Я просто латифундистка, помещица», – думала Татьяна. Она шла между грядками и, с гордостью поглядывая на свежую будку туалета, отпивала воду из кружки – вкусная! Потом «помещица» что-то заметила боковым зрением – именно так она замечала, как списывают на контрольных: сознательно скрытое движение привлекает больше внимания, чем обычное, бесхитростное. Здесь не было движения, здесь просто что-то было не так. Дверца приоткрыта. Татьяна подошла ближе, кружка выпала у нее из рук и, не разбившись, укатилась куда-то в морковь.

Обои, домашние и родные – золотистые загогулины на розовом фоне, – были содраны со стен и торчали из дыры туалета, будто какой-то страшный, нелепый букет.

Татьяна вошла в будку и зачем-то закрылась изнутри на задвижку. Сквозь щели в досках проникало не много света, и на душе вдруг стало темно и пусто. Татьяна потянула обойную полосу на себя, потом опомнилась, вылетела из туалета и, прижавшись спиной к молчаливому дому, заплакала.

Соседи ничего не слышали и не видели. Бывшие хозяева с утра до вечера разыскивали в городе материалы для строительства, Татьяна их давно не встречала. Во времянке жили только старуха с белоголовым Вовой. Санчик из дома напротив тоже ничего не знал – он целыми днями пропадал на речке. Ольга, к которой Татьяна побежала сразу же, еще не перестав плакать, обошла всех соседей, но всё без толку.

И дом – молчал. Молчал упрямо, как разобидевшийся подросток. Татьяна уехала тем вечером в город, оставаться в Щите ей было страшно. Наутро сюда прибыли Митя и Анфиса – девушка загорала, заклеив нос листком сирени, а Митя убирал «букет» из туалета. Татьяна вернулась к обеду – и оклеила будку заново. Правда, обои были похуже. Клеила и думала: чего ей ожидать в следующий раз?

Вот так Это и началось, а безмятежные, счастливые визиты в Горный Щит, напротив, закончились. Теперь Татьяна всякий раз группировалась перед поездкой, собирала силы и задерживала дыхание: примерно с такими чувствами мама хулигана стоит перед дверью в класс, где идет родительское собрание.

Однажды неизвестный пакостник протащил шланг от летнего водопровода (особое Татьянино достижение) до погреба и открыл кран – до отказа. Хорошо, что в этот день Ольга решила провести подругу – и закрыла воду, которая с шумом хлестала в пустую, по счастью, глубокую яму погреба. По деревенским меркам это была просто безжалостная месть. Вендеттища!

– За что? – спрашивала Татьяна у дома. – Что я делаю не так?

Но дом с ней не разговаривал, а Это всё продолжалось, причем пакостники явно входили во вкус. Любимую Татьянину сирень, огромный, торжественный, по весне совершенно врубелевский куст, созвучно этому сравнению однажды ночью вырубили. Точнее, изуродовали. Ветви лежали на грядках, цветы долго не умирали, хотя пахли уже не как живые.

Яблоня, которую Татьяна посадила в саду в первый год, дала наконец яблочки. Татьяна была счастлива – сразу решила, что не будет их рвать, пусть повисят на ветках, порадуют. Не провисели и трех дней – в очередной приезд Татьяну ждали голые ветви, а яблоки валялись во дворе раздавленные, со следами ребристой подошвы.

Митя рвался выследить пакостников, подкараулить – но Татьяна ему не разрешила. Еще чего! У нее всего один сын. Анфиса в этом вопросе поддерживала Татьяну: загорать с листком на носу ей наскучило, к тому же она убедила Митю пойти охранником в новый коммерческий банк на улице Гагарина. Муж вообще не желал слышать про *дерёвню*, а Лерочка предлагала «продать нафиг этот дом – и купить шубу». Кому – можно было не пояснять.

И всё же Татьяна не сдавалась. Да, она приезжала в Щит реже, чем поначалу. Да, ей было всякий раз страшно открывать калитку и ступать во двор. Она одинаково боялась и увидеть новое Это, и поймать пакостника на месте – главным образом, узнать его.

Кто это был? Старуха, чьей смерти с нетерпением – как премии! – ждала целая семья? Застенчивый Вова с белым чубчиком? Санчик? Его мама? Или, может, бывший хозяин с его татуировками и краденными паспортами?

Татьяна боялась, но не хотела расставаться с этим домом. За четыре года сюда было вложено столько труда, ее и Митиного, столько денег, столько надежд на лучшую жизнь! Впрочем, жизнь и без Горного Щита становилась получше. Муж нашел работу, его взял к себе в контору бывший коллега. Платили вначале вещами, это называлось «бартер», но потом появились и деньги. Лерочке купили вожденную шубу и капор из енота. Обновки были к лицу студентке – пришлось разориться на репетиторов, зато дочь поступила с первой же попытки на романо-германское отделение, которое только что открыли. Выбрала итальянский язык. И вот теперь оканчивала уже третий курс.

– Я здесь жить не собираюсь, – сказала недавно Лерочка. – Найду мужа в Италии, и чао!

Представить дочку в Горном Щите было крайне сложно – она в любую погоду носила узкие юбки и высокие каблуки. Муж, укрепившись в звании добытчика, потешался над сельхоздостижениями жены – горсткой первой клубники, бесценным огурчиком, вечными братьями укропом и петрушкой, пучки которых Татьяна всучивала каждому гостю, все-таки доехавшему до ее дома.

Жизнь шла, и Это продолжалось, хотя иногда таинственный подлец стихал на несколько недель. Зимой он вообще не показывал носу, но как только Татьяна открывала новый сезон – тут же открывал следом свой. Топтал грядки, швырял навоз по двору, сдирал обои со стен туалета – чувствовалось, что он повторяется, выдыхается.

– Ты так говоришь о нем, как будто жалеешь! – возмутилась Ольга. Она втайне от подруги устроила как-то ночное дежурство во время Татьянинного отсутствия. Не спала всю ночь, но пакостник так и не явился. А жаль – Ольга принесла с собой топор для устрашения и оставила его у Татьяны в голбце, на всякий случай. Там лежал, оставшись от прежних хозяев, оживший и разобранный по предметам словарь народных говоров – пестерь, ребристый деревянный рубель, техло, камышовые маты, драные крошны и древняя пайва, в которой уже не принести домой не то что Машу с пирогами, но даже грибов для жарёхи. Сплошное ремьё – хозяева выбросить поленились, а Татьяна оставила из вечной своей нерешительности. Она тяжело расставалась что с людьми, что с предметами.

Татьяна вернулась наутро, решила остаться до субботы – решила, точнее. Ночью ее разбудил стук: в окна – казалось, во все разом – били камешки. Кто-то орал истошным голосом, она боялась выглянуть. Сползла с кровати, нашла топор, обняла его, как собаку, и думала, что делать, если они полезут сразу во все окна. За дверь не боялась – там был кованый крюк, вдетый в массивную петлю.

Сидела так почти час, пока Это не прекратилось.

– Оно никогда не прекратится, – сказал тогда Дом, и Татьяна выронила топор, и он упал на пол с тяжелым тупым звуком – хорошо хоть не на ногу. – Мне больно, между прочим! – возмутился Дом.

– Почему ты раньше со мной не говорил? Я столько для тебя сделала, другой постыдился бы!

– Не говорил, потому что надеялся – ты и так догадаешься. Разве легко такое сказать?

Он скрипнул половицей, как будто вздохнул и собрался с силами.

– Тебе здесь не место.

– Почему это?

– Потому.

– Это не ответ. Скажи, кто меня так не любит? Кто пакостит?  
– Не скажу, но объяснить кое-что считаю долгом. Ты помнишь, как деревня зовется?  
– Конечно. Горный Щит.  
– Щит – орудие защиты. Тот, кто Это делает, защищает свой дом – и выгоняет чужих.  
– Я не чужая! – возмутилась Татьяна. – Я честно купила и тебя, и огород! Ты что, сомневаешься?

– Не я, – рассердился Дом. – Тот, кто Это делает, не мыслит документами.

– А как он мыслит? – спросила Татьяна.

– Никак.

– И снова – не ответ!

Дом замолчал.

– Эй, – позвала Татьяна, но с ней больше никто не разговаривал.

На другой день она собралась уехать в город пораньше, но опоздала на автобус и вернулась.

В доме кто-то был – Татьяна шла на цыпочках в комнату и слышала, как там шоркают тряпкой, будто кто-то изо всех сил оттирает грязь с пола. Но, конечно, гость не оттирал грязь – он возил помойной тряпкой по чистенькой беленой печке, размазывая нарисованных петушков, как размазывал бы живых ногою по полу.

Татьяна увидела гостя – и тут же всё поняла.

– Наконец-то, – пробурчал дом на прощанье. – А вообще, ты мне нравилась! Встретиться бы нам пораньше... Эх!

И хлопнул форточкой, будто закашлялся – чтоб скрыть слезу.

– Оля, а ты почему без очков?

– Потому что в линзах! Раз десять уже рассказывала.

– А я так никогда и не помню – кто в очках, кто без очков.

Автобус дернулся на повороте, и пассажиры повалились друг на друга.

Татьяна смотрела в окно – надо же, как всё здесь изменилось! Храм отреставрировали, покрасили в канареечный цвет, окружили уродливой массивной изгородью. Хорошо, что Малахов не видит. Дома посвежели, то здесь, то там – краснокирпичные коттеджи, неожиданно походят на георгианские. Татьяна насмотрелась таких домов в Англии – ездила в гости к Лерочке, она живет со своим Джанлуиджи в графстве Кент. Стиль цыганский-георгианский, подумала Татьяна, вспомнив Заринку с улицы Шекспира. И всё же кое-что в Горном Щите уцелело, хотя прошло пятнадцать лет. Например, дорога, которая ныряет к реке, а потом поднимается вверх. И огороды-трамплины. И, конечно, лес, где каждое лето цветут купавки, желтые и маслянистые, как профитролы. Кровохлебка, пижма, татарник, иван-чай... Сейчас ранний март, нет никакого иван-чая. Обочины – в снегу, машины по-братски делят поплывшую дорогу с пешеходами. Собаки брешут в каждом доме – идешь как по клавишам, включая одну псину за другой. Как собака – по роялю.

Татьяна вернулась в свою школку той же осенью, когда продала дом в Горном Щите. Про себя она говорила так: «Я продала Горный Щит». Вновь продолжила вечную борьбу за русский язык и битву за литературу. Опять упражнения, где нужно вставить пропущенные буквы – слова шамкали без этих букв, как с выбитыми зубами. Мальчишки, как и прежде, пускали петуха, рассказывая стихи о любви, а потом писали бессмертные строки на партах, забывшись, как свои.

Лерочка давно причастилась любви и брака, после чего бросила мужа и уехала в Италию, где встретила Джанлуиджи. Лысый и припухлый, как младенец-переросток, Джанлуиджи всю жизнь только и делал, что ждал свою Лерочку – он сам так рассказывал. В конце прошлого года увез ее в Англию: там была и новая работа, и новый дом – с багряным плющом по фасаду.

Татьяна скучала по дочери, но не так, как по Мите: Лерочка могла вернуться, Митя – никогда. Ее Митя умер целых семь лет тому назад. И три месяца. Она всегда знала, сколько месяцев. Всего семь лет и три месяца назад он был жив.

По сравнению с этим все беды меркли, превращались в мелкие досады, камешки в туфлях – вытряхнуть и забыть. Муж ушел к молодой коллеге – забыла. Сама постарела за год – неважно. Камешки, всего лишь камешки...

– И зачем тебе приспичило сюда ехать, в самую чачу?

– Самая чача еще впереди! Ну не сердись, Оля, просто мне хочется еще раз увидеть тот дом.

Дом был такой же мрачный, серый, молчаливый. Маленький рядом с уродливым двухэтажным коттеджем. Похож на древнего старика, который с трудом ходит, но до смерти всё будет делать для себя сам. Татьяна подошла к воротам, погладила их.

– Заринкины ворота. Всё еще крепкие. Почернели только.

Ольга разглядывала двор через щелочку.

– Ты мне так и не сказала, почему его продала.

– Потому что узнала, кто гадил.

Ольга чуть не упала от возмущения:

– Да как ты могла, вообще? Столько лет молчала! Я ведь на той же улице, между прочим.

Он и ко мне мог...

– Не мог.

Они пошли вдоль забора вверх. Татьяна жадно разглядывала заснеженный огород. Яблоньки не было. Совсем.

– А кто это был-то? Сейчас хотя бы скажешь?

– Мальчик. Помнишь, Вова?

– Сын хозяев, маленький блондинчик? Помню. Но почему?

Татьяна улыбнулась.

– Потому что это был *его* дом. Ему никто не объяснил, что новое жилье строят для себя, не на продажу, и что он не останется навсегда с бабкой в той времянке. С ним вообще никто не разговаривал. Этот прокопченный, убогий дом был его миром, который присвоила чужая семья. В этом возрасте принять такую трагедию невозможно. Я забрала не просто дом – я детство у него отняла. И он стал бороться. Мстил как мог.

– И ты не стала жаловаться? – не верила Ольга. – Не пошла к родителям?

Татьяна промолчала.

И дом тоже молчал, но теперь им не нужно было говорить для того, чтобы понять друг друга.

Две немолодые женщины стояли у забора по колено в снегу и смотрели на пустой огород, где торчала у дальнего забора всё еще живая туалетная будка. А потом пошли обратно, к дороге, стараясь попадать в свои же следы.

## Теория заговора

Седьмой класс – это как седьмой круг ада, считал Пал Тиныч. Кипящая кровь – правда, не во рву, а в голове учителя. Измывательства гарпий – роли гарпий он, пожалуй, доверил бы сестрам-двойняшкам Крюковым и Даше Бывшевой, которая всё делала будто бы специально для того, чтобы не оправдать ненароком свое нежное, дворянской укладки имя. Кентавр – это у нас еврейский атлет Голодец, вечно стучит своими ботами, как копытами, а гончие псы – стая, обслуживающая полнотелого Мишу Карпова, вождя семиклассников. В пору детства Пал Тиныча такой Миша сидел бы смиряком на задней парте и откликался бы на кличку «Жирдяй», а сейчас он даже не всегда утруждается дергать кукол за ниточки – они и так делают всё, что требуется.

У Данте было еще про огненный дождь – разумеется, Вася Макаров. Не смолкает ни на минуту, бьет точно в цель, оставляет после себя выжженные поля, никакой надежды на спасение. Пал Тиныч Васю побаивался – и сам же этим обстоятельством возмущался.

МакАров – так с недавних пор Вася подписывал все свои тетрадки, настолько занюханые, что походили они не на «тетрадь – лицо ученика», а на обнаруженные чудесным образом черновики не очень известных писателей – покрытые пятнами, грибом и поверх всего – обидой, что не признали. Полгода назад, на истории, Пал Тиныч рассказывал про Англию и Шотландию, пересказывал Вальтера Скотта – читать его седьмые всё равно не будут, как бы ни возмутило сие прискорбное известие автора «Уэверли» и «Айвенго» («Иванхое», глумился Вася МакАров). А вот в пересказе этот корм пошел на ура. Даже Вася, отглумившись, заслушался: на лице его проступали, как водяные знаки на купюрах, героические мечты, а рука отняла у соседки по парте Кати Саркисян карандаш и начала чертить в ее же тетради – девчковой, аккуратнейшей – шотландский тартан. Пал Тиныч видел, как в мыслях Васи складывается фасон личного герба: единорог, чертополох, интересно, а собаку можно? У Васи жил золотистый ретривер.

Школа, где преподавал Пал Тиныч, звалась лицеем. Сейчас есть три способа решить задачу про образование: можно отдать ребенка в лицей, можно в гимназию, а можно – в обычную школу. Последний вариант – не всегда для бедных, но всегда для легкомысленных людей, не осознающих *важную роль качественного образования в деле становления личности и формирования из нее ответственного человека, тоже, в свою очередь, способного в будущем проявить ответственность*. Ответственность и формирование – два любимых слова директрисы лицея Юлии Викторовны, с которыми она управлялась так же ловко, как с вилкой и ножом. А бюрократический язык, как выяснил опытным путем Пал Тиныч, – это не только раздражающее уродство, но еще и *ключ к успешным переговорам, а также к достижению поставленной цели* (и это тоже – из кухонно-словесного инвентаря Юлии Викторовны).

Прежде историк говорил с директрисой в своей обычной манере: мягко шутил, чуточку льстил – не потому что начальница, а потому что женщина. Цитата, комплимент, «это напоминает мне анекдот» и так далее. Увы, Юлии Викторовне такой стиль был не близок – она слушала Пал Тиныча, как музыку, которая не нравится, но выключить ее по какой-то причине нельзя. Она вообще его раньше не особенно замечала – ну ходит какой-то там учитель, разве что в брюках. Насчет мужчин в школе – вымирающий вид, уходящая натура и раритет, – у нее было свое мнение. Юлия Викторовна предпочитала работать с дамами: она понимала их, они – ее. Формирование ответственности шло без малейшего сбоя. Директриса, кстати, и девочек-учениц любила, а мальчишек только лишь терпела, как головную боль, – от мужчин одни проблемы, с детства и до старости. Вот разве что физрук Махал Махалыч – тощий дядька с удивительно ровной, как гуменцо, плешью – даже будучи мужчиной, проблем не доставлял. Его формирование происходило при советской власти, которую Юлия Викторовна зацепила самым

краешком юности – так прищемляют полу плаща троллейбусными дверцами. Прежде чем произнести что-то сомнительное или, на его взгляд, смелое, Махалыч прикрывал рот ладонью, звук пропадал – и физрука приходилось переспрашивать: «Что-что?» Тогда Махалыч делал глазами вначале вправо, потом влево и повторял свою крамольность, так и не отняв руки от рта – но это было неважно, ведь он никогда не говорил ничего на самом деле сомнительного или смелого. Общение с физруком было тяжким, Пал Тиныч давно свел его к двум – трем вежливым фразам, а вот директрису историк приручил – и сам был удивлен, как это у него получилось.

Тогда он пришел к Юлии Викторовне с очередной просьбой – и, в очередной раз, не своей, Дианиной. Хотел начать как всегда – интеллигентный пассаж, шутка-каламбур, – но сказал вдруг вместо этого следующее:

– Прошу вас верно оценить сложившуюся ситуацию и пойти навстречу молодому специалисту Механошиной Диане Романовне, которой требуется выделить средства для поездки ее в качестве руководителя школьного ансамбля в Германию.

Директриса смотрела на него во все глаза – как будто видела впервые. Как будто иностранец залопотал вдруг на русском языке – да еще и уральской скороговоркой.

– Я не возражаю, – произнесла наконец. – Мы изыщем средства.

– Благодарю за оперативно принятое решение. – Внутри у Пал Тиныча всё смеялось и пело, как бывает в первый день летнего отпуска на море.

– А по какой причине Механошина сама не явилась? – насторожилась Юлия Викторовна.

– Сегодня Диана Романовна отсутствует по семейным обстоятельствам и попросила меня довести до вашего сведения эту информацию.

Директриса кивнула и попрощалась – лицо у нее было как у королевы, которая раздумывает, не дать ли ему поцеловать перстень. Не дала – лишь подровняла с шумом пачку бумаги на столе, и так в общем-то ровную.

Пал Тиныч вышел из кабинета и почувствовал, что радость исчезла – более того, ему вдруг захотелось срочно принять душ, или хотя бы прополоскать рот, чтобы произнесенные слова не прилипли к языку навсегда. Но было поздно – он принял клятву бюрократа. Стыдно, зато тебя понимают. И Диана была рада: родители лицеистов давно отказались складываться на поездку для руководительницы, то есть своих-то отпрысков они оплачивали беспрекословно, но включать в стоимость Диану не желали. Кризис никто не отменял, а те, кто родом из девяностых, – они всегда начеку.

Родители – поколение первых в стране богатых и будто бы свободных людей – обладали в лице истинной властью. Не все: ареопаг, как водится. Именно эти избранные решали, какой учитель достоин преподавать в лицее, а какому лучше перейти в обычную школу. Рита, жена Пал Тиныча, работала как раз в обычной – и честно не понимала, в чем разница между двумя этими заведениями. Условия почти те же, в чем-то лицей даже хуже – вот в Ритиной школе каток больше и актовый зал просторнее.

– Зато у вас детей по тридцать пять человек в классе и контингент по месту жительства, – заступался за лицей Пал Тиныч.

– И что? – сердилась в ответ Рита. – Мне, по крайней мере, не объясняют, кому какие оценки нужно ставить. И камеры в кабинет не вешают.

Камеры – это она попала сразу и в яблочко, и по большой мозоли. Меткий стрелок, дочь охотника. В середине года в лицее был скандал с молоденькой учительницей, которая «не довела до сведения администрации конфликтную ситуацию». Девочка Соня написала полугодовую контрольную на два – и учительница решительной рукой нарисовала и в дневнике, и в журнале кровавого лебедя. А девочка была не просто девочка по месту жительства, но дочь могущественной Киры Голубевой, главы родительского комитета, дамы без возраста и сомне-

ний. Соня Голубева – она сейчас учится в одном классе с Макаровым и сестрами Крюковыми – дурнушка с крепкими икрами футболиста, вечно шуршит обертками от шоколада, будто не на урок пришла, а на балет.

Сонина мать явилась на следующий день после двойки, еще до первого звонка зажала биологичку в лаборантской. Училке бы покаяться, принести извинения – ладошка к груди, брови кверху. А она начала спорить: ваша девочка не знает ничего, полный ноль, на уроках сидит с отсутствующим видом. На слове «отсутствующий» биологичка сбилась, это слегка смазало впечатление.

– Она ничего не знает, потому что вы не научили! – сказала Кира Голубева, и палец ее смотрел прямо в сердце биологичке, но та никак не могла понять, что происходит, – бубнила всё мимо, не то.

– Я подаю лицу такие деньги не для того, чтобы моя дочь сидела на уроках с отсутствующим видом! – повысила голос Кира и на слове «отсутствующий» не сбилась, устояла. Ей не улыбалось болтать с этой дурой так долго – да ей вообще этим утром не улыбалось. – Ваша задача – сделать так, чтобы Соне было интересно. Не получается – ищите подход. Вам за это платят, и платят прилично, не то что в обычной школе.

Биологичка хотела что-то сказать, но поперхнулась словом и просто чмокнула в воздухе губами – как будто поцеловала Киру Голубеву. На другой день в кабинете установили видеокамеры – Кира хотела знать, как продвигается дело по увлечению Сони биологией. Дело продвигалось вяло, Соня зевала, хрустела челюстью, и потому через месяц училку пришлось уволить. На ее место – как в китайском оркестре за каждым скрипачом – стояла длинная очередь претенденток.

Пал Тинычу не нравилось засилье родительской власти в лицее – но он прекрасно понимал, что революции здесь быть не может. Как и эволюции. Разве что деволуция и девальвация. Если жизнь его чему и научила – а ему с детства мама предсказывала, что жизнь обязательно обломает сучья и наподдает по всем местам, – так это терпению.

Он терпел Риту – хотя она подтрунивала над ним, потешалась, насмехалась и сколько бы еще глаголов вы ни вспомнили в продолжение ряда, все они здесь подходящие, берем – заносите!

Он терпел Диану – пусть она была ему временами совершенно непонятным и чужим человеком. Терпел коллег, терпел учеников (даже седьмой класс с литерой «А»). Терпел крошечную зарплату – Кира Голубева заблуждалась: платили в лицее немногим больше, чем в обычной школе, а он к тому же посылал часть Артему, тайком от жены. Терпел он и обратную дорогу с ярмарки, и чем дальше уносило его от юности, тем больше требовалось терпения, но он справлялся: он вырабатывал терпение, как тополь – кислород. Это, кстати, была последняя тема урока у злополучной биологички, «сосланной» в обычную школу, – деревья, кислород и так далее.

Пал Тиныча в его терпении поддерживала вера – но не та, которая всех нас обычно поддерживает, с той верой у него как раз не очень складывалось. Зато была другая.

Теория заговора.

Рита особенно насмешничала по этому поводу – что он подозревает всех кругом, начиная с председателя проверяющей комиссии и заканчивая английской королевой.

Раньше, когда они были молоды, и Рита вставала каждое утро на час раньше, чтобы накраситься и сделать прическу – и только потом ложилась обратно в кровать и открывала глаза красиво и томно, как в фильме, где даже безутешные вдовы носят роскошный макияж... Так вот, раньше, когда они были молоды и Тиныч, уходя в ванную, всегда включал воду до упора – чтобы не оскорбить слух жены неуместным звуком... Да что ж такое, невозможно слова сказать – тут же проваливаешься в воспоминания, как в ловчую яму! Попробуем еще

раз: когда они были молоды, Пал Тиныч делился с женой своими наблюдениями и мыслями, и она его внимательно слушала.

– Какое у вас красивое тело! – говорила жене массажистка, а Пал Тиныч ей терпеливо объяснял: всех массажисток специально учат лстить клиентам, чтобы они пришли еще раз именно к этому специалисту.

Или другой пример. В девяностых, когда они только начинали жить вместе, Артему было года три, рядом с их домом открыли казино. Раньше там работала «Пышечная», Пал Тиныч с детства привык смотреть на очереди под окном – со всего города приезжали сюда за пышками. А теперь – казино с традиционным названием «Фортуна».

– Ты не обратила внимания? – обращался Тиныч к жене. – Ровно в восемь ту дорогу, мимо казино, перебегает черная кошка. Каждый день!

– Придумываешь, – отмахивалась Рита.

– Ничего подобного. Они специально выпускают черную кошку, чтобы суеверные люди сворачивали в эту «Фортуну».

– Да что за бред, и почему ровно в восемь?

Рита смелела год от года, а Пал Тиныч так же год от года учился молчать о том, что видел, – и никто не мог его переубедить, что это бред или глупости. Он не был сумасшедшим, а идея его навязчивой считаться не могла – он ее почти никому не навязывал. Но идея, конечно, менялась, как любое искреннее чувство, становилась со временем всё мощнее и масштабнее. Вера в заговоры помогала объяснить всё, что происходило вокруг, даже самое нелепое.

В последнее время Рита морщилась, стоило Пал Тинычу лишь упомянуть о «Комитете 300» или заговоре нефтяников, вот он и прекратил эти упоминания. Хотя находил повсюду новые и новые свидетельства. И как историк, и как мыслящий человек.

– Не вздумай забивать этим голову Артему, – приказала Рита. – Хватит с меня одного заговорщика.

Артем был ее сыном от первого брака, так что Рита имела право командовать. Хотя если бы спросили Артема – задали бы ему тот дурацкий вопрос, который нынче, в свете новой психологии, исключен из традиции, – кого он любит больше, маму или папу, он не затормозил бы перед ответом ни на секунду. Разумеется, папу! Мама с пятого класса пыталась сослать его в суворовское училище – но оно оказалось под завязку укомплектовано наследными принцами из олигархических семейств, не справившихся с главным в жизни делом – воспитанием. А папа всегда был с ним рядом, ему можно было рассказать всё – и не бояться получить по губам шершавой ладошкой, а потом еще и огрести наказание, которое могли бы взять на карандаш даже строгие британские воспитатели из закрытых школ.

У Пал Тиныча был простой подход к воспитанию. Он считал, что родитель – неважно, родной или нет – должен успеть научить свое дитя как можно большему. Покуда знания, умения и навыки усваиваются – учить да учить. И терпеть, конечно.

С Артемом было сложно, это правда. Терпения уходил двойной запас – как у батареек на морозе. Исключительный шалопай, ласково думал о сыне Пал Тиныч. Это он сейчас так думал – а лет десять назад руки чесались по всей длине, как говорится. И глаз дергался. И сердце – ходуном. Он сам ведь тоже был не подарок, мама не зря его в детстве пугала жизнью-дровосеком. Но терпел. Ни разу не ударил мальчика. А вот Рита прикладывала ему почем зря.

– Ты же учитель, ну как так можно! – увещевал Пал Тиныч, но в ответ летело воинственное:

– Уйди с дороги, а то и тебе прилетит!

В самых тяжких случаях Пал Тиныч уводил Артема из дома, они сидели на пустой веранде в ближнем детском саду.

– Ты пойми, – говорил Пал Тиныч, – хорошим быть выгоднее, чем плохим.

– А плохим зато интереснее, – считал Артем.

С этим было трудно спорить, но Пал Тиныч пытался. Артем его слушал, поглощал слово за словом – как голодный человек, который не может остановиться, всё ест и ест, хотя давно не лезет. Слушал и грыз кожу вокруг ногтей – пальцы у него были объедены, как деревья зайцами. Раньше мальчик жевал бумагу – отрывал от книг и тетрадей, портил обои, потом начал есть сам себя. Пал Тиныч купил сыну головоломку, чтобы крутил в руках и отвлекался – и вроде бы помогало, но уже через день он ее обронил где-то и снова начал грызть кожу.

Пал Тинычу было так жаль Артема, как большинство из нас умеет жалеть лишь самих себя. Мальчик был умен не по возрасту, не по статусу – и не понимал, что надо скрывать этот факт даже от мамы, потому что его не простят, как и талант не прощают, и красоту... Артем был еще и красив – даже слишком красив для мальчика, и Риту это обстоятельство тоже почему-то раздражало. Потом уже только Пал Тиныч понял почему.

На веранде говорилось легко, не зря их так любили хулиганы в девяностых. Пал Тиныч, правда, в конце концов выдыхался – и тогда высказывался не сам от себя, а включал, например, Шекспира.

– Входят три ведьмы, – начинал Пал Тиныч, и Артем закрывал глаза, как старичок в филармонии – чтобы ничего не отвлекало от музыки, то есть от Истории. История, которую рассказывал сыну Пал Тиныч, и история, которую он преподавал пятым, седьмым, девятым и десятым, сливались воедино – и получалось так, что Артем знал гуманитарную линейку лучше некоторых учителей, и не умел смолчать об этом. А учителя – обижались.

Пал Тиныч и сам отлично знал это чувство – когда подготовил урок об инквизиции, например, навдумывал загадок и вопросов для детей, которых развлечь без компьютера практически невозможно, – и вот на полуслове тебя сбивает с мысли какой-нибудь Вася Макаров:

– Полтиныч, а я видел Папу Римского! Он няшка!

Все они были в Риме, в Париже, сестры Крюковы плюются от Англии и считают Швейцарию скучной. Даша Бывшева целое лето проводит в Испании, у Карповых – дом в Греции, а что здесь такого?

– Да-да, Вася, я рад за тебя, – говорит Пал Тиныч и пытается встать на ту же самую лыжню – но какое там, впереди несется Вася и кричит на ходу, оборачиваясь:

– А вы были в Италии, Полтиныч?

– Не был, Вася.

Седьмой гудит, не верит. Как можно не бывать в Италии? Уже даже дети учителей туда съездили – правда, на них скидывались другие родители.

Дети лицейских учителей – особая разновидность школьной породы. Учатся лучше других, привыкли к повышенному спросу – их спрашивают чаще, это правда, и еще они с детства перециклены на том, чтобы соответствовать одноклассникам. В одежде, привычках, манерах. Это сложно, крайне сложно для родителей. Поэтому Артем учился в Ритиной школе, и даже ту ему с трудом удалось окончить без двоек. Да, Шекспир, да, общий гуманитарный фасон выдержан, и даже математику дотянул – Рита за ним следила, как коршун за цыпленком. Но гонор какой! Высочка! Учительница природоведения из Ритиной школы даже написала ему в конце четвертого класса через весь дневник нелицеприятную характеристику, и Рита перестала с ней здороваться, свистела при встрече какое-то «сссс». Эта учительница природоведения была как тумба, и не только на Артема осерчала, но еще и позавидовала самой Рите, худенькой, лет на пятнадцать моложе паспорта. Вот эта зависть и вылезла из нее чернильными каракулями – бывает. На детях все обычно срываются – это очень удобно.

Сейчас Артем живет далеко от них, перебрался вначале в Питер, потом в Китай. Пал Тиныч сам ему посоветовал – уезжай. На расстоянии с матерью будете жить мирно. Так и получилось. Рита даже гордиться им понемногу начала – фотографии показывает в школе, вот Артем в Сиани, вот Артем в Лояне. Но стоит мальчику приехать – и, как в песне, начинается сызнова.

Всё мог понять в своей жене Пал Тиныч, кроме вот этой странной нелюбви к сыну – даже, он сказал бы, ненависти. Можно было бы объяснить это тем, что Рита не любила первого мужа, но нет, даже очень любила. Отец Артема был из околобандитской среды, закваска ранних девяностых. Красивый хмурый парень – Пал Тиныч часто смотрел на его карточку, вставленную между стеклами секретера. Чем он занимался, с кем имел дело, Рита особенно не рассказывала – но однажды открыла, что Сережа покончил с собой. Она почему-то скрывала этот факт, считала самоубийство чем-то постыдным – вроде неприличной болезни. И это тоже казалось странным – Пал Тиныч никогда прежде не сталкивался с таким отношением. Потом понял, в чем дело: Рита считала, что у хорошей жены муж не застрелится. А если у нее застрелился, значит, она жена плохая. И все скажут, подумают, осудят, будут показывать пальцем и так далее, сами знаете. Жить в обществе и быть свободным от общества по-прежнему нельзя, хотя уже и необязательно помнить автора цитаты.

Но сын, сын-то почему? Ведь удивительный, уникальный ребенок! Читать в три года начал. В девять лет – сонеты Шекспира переводил. Китайский выучил – теперь думает, оставаться там или в Европу ехать. Чем он ей так не угодил?

– Так она дочку, наверное, хотела, – сказала однажды Диана и попала, как это у Диан обычно и бывает, прямо в цель.

Пал Тиныч и сам часто думал: мы живем в эпоху женщин. Раньше, история не даст соврать, ценились мальчики – но сейчас эти предпочтения уцелели разве что в Китае. Сейчас все поголовно хотят девочек. Дочек. С ними проще, это правда. Бывают неприятные исключения (Крюковы, например), но в целом девочки слышат, что им говорят, они обладают врожденным послушанием (мальчикам вместо него положена агрессия, и она хранится в одном месте с тестостероном), не цепляют столько вредных привычек. И самое главное: девочки – в той же системе интересов и ценностей, к которой приписаны женщины, главные воспитатели современных детей. Наряды, жизненные удовольствия, комфорт. Танцы, романтика, наращивание прядей натуральными славянскими волосами (Пал Тиныч увидел однажды это объявление по телевизору – и такого себе напредставлял, что пришлось идти к Рите за разъяснениями). Будем честны: наш мир – в городской его версии – гораздо лучше приспособлен для женщин. К мужчинам он предъявляет такие требования, что не всякий выдержит. Женщины – мамы, бабушки, учительницы и воспитательницы – первым делом выпалывают из мальчишек ту самую агрессию, не понимая, что это не сорняк, а ценный злак. Пал Тиныч иногда разрешал Артему покомандовать – именно для того, чтобы он чувствовал, что имеет право это делать. Рита же всегда ломала сына – жестоко ломала. Она мечтала о дочке Арине, так и не смирилась с тем, что у нее мальчик, а второго ребенка ей Бог не дал. Не дают таким второго – потому что они первого не любят. Даже красота Артема ее раздражала – она видела на его месте так и не рожденную Арину, красивая была бы девочка!

Зато у Артема был лучший в мире папа – слова «отчим» мальчик ни разу в жизни не произнес, он и значением его не интересовался. Хотя по части значений разных слов всегда был на высоте. Поправлял учителей, если те ошибались – в слове «апостроф» ударение падает на третий слог, Майя Давыдовна, а роман этот написал не Уайльд, а Стивенсон. Подсказывал нужное слово, соскочившее по дороге от мыслительного к речевому аппарату. Пал Тиныча беспокоила нервная разговорчивость Артема – но, в отличие от жены, он не верил, что этот вывих вправят в военном училище.

Рита сердилась, когда Пал Тиныч входил в детскую ночью и слушал дыхание сына – ему всё казалось, что тот как-то слишком тихо спит. Он боялся за него, мучительно жалел в отрочестве – самом уязвимом возрасте, когда сам себе не рад. Прыщи, голос, срывающийся от тенора к басу, вечный страх, что родители вдруг сделают что-то не так при друзьях, будут выглядеть смешно, опозорят. Наедине Артем всё так же доверял отцу, но стоило появиться сверстнику

– менялся, грубел, грубил. А потом вырос, повзрослел, уехал. Девочка у него – китаянка. Пал Тиныч скучал, писал письма, отправлял деньги. Нелишние, пока учится.

Место, которое осталось пустым после отъезда сына, оказалось каким-то уж слишком большим – его нельзя было закрыть ни обычной жизнью, ни работой. Пал Тиныч смотрел по сторонам, видел озлобленную Риту, которую он всё равно никогда не бросит, и думал: вот так и прошелестят все эти дни-годы впустую, будто это и не годы, а страницы, которые скроллит в своем планшетнике Вася МакАров.

Потом на одной странице случился сбой системы – в лицей пришла Диана.

Пал Тиныч отлично помнил этот день. Было так: сидит он в лицейском буфете. И тут входят три ведьмы – Кира Голубева и еще две мамашки, одна в розовом и блестящем, другая – в черном и клепаном.

– Видели новую по музыке? – спросила клепаная. Многодетная мать, между прочим, Пал Тиныч имел честь обучать истории всех ее отпрысков.

– Нет пока, – заинтересовалась Голубева, не сразу почувствовав, как розовая и блестящая дергает ее за рукав – новая по музыке уже зашла в буфет и осветила его своим невозможным мини. Пал Тиныч пролил на стол кофе. Клепаная выронила всю мелочь из кошелька, и дети, которые стояли в очереди за плюшками, начали подбирать ее, стуча лбами.

– Это еще что такое? – вымолвила Кира Голубева, не с первой попытки придав лицу нужный презрительный вид (получился вначале удивленный, а потом завистливый).

– Это наш новый учитель по музыке, Диана Романовна! – крикнула одна из Крюковых, кажется, Настя.

Диана покраснела – чудесным, ровным румянцем, не то что Кира Голубева: у той в припадках злости проступали на щеках неопрятные красные материки. Южная Америка на правой щеке и Австралия – на левой. У Дианы даже румянец был совершенство.

– Ну и титаники, ничего так, – снизошел до новой училки Миша Карпов. Пал Тиныч сделал вид, что не заметил этой фразы, уткнувшейся в беззащитную спину Дианы – и трепетавшей там, как стрела. Бесплезно замечать – такие, как Миша Карпов, сын богатых родителей, всегда вне подозрений и замечаний. Миша, кстати, не такой уж и злой человек – и не такой назойливый, как Вася МакАров: от того даже школьная уборщица, дама не из робких, прячется в туалете. Заболтать МакАров может насмерть.

Пал Тиныч однажды оставил Васю после уроков переписывать тест по Смутному времени, попросил посидеть с ним школьного психолога. Та давно строила куры историку и потому согласилась, а когда Пал Тиныч, пообедав под ледяным взглядом Киры Голубевой, вернулся в класс, психолог стояла над Васиным столом и криком кричала:

– Да алкаш он, Вася! Обычный алкаш!

– Что у вас происходит, Олеся Васильевна? – испугался Пал Тиныч. По пищеводу, как в лифте, стремительно летела вверх котлетка, и так-то плохо прожеванная.

– Сама не знаю, – объясняла потом психолог. – Он меня вывел как-то неожиданно на разговор о моем муже. Спрашивает, главное, как взрослый! Ну надо же! Хорошо, что никто не слышал.

Пал Тиныч подумал – и решил: пусть «никто» так и останется никем. Не стал рассказывать ничего Васиной маме – да она и не любила, когда с ней говорили о сыне. Если ругали – расстраивалась, если хвалили – не верила. Она редко бывала в школе, хотя вызывали ее часто. Слишком сложным был ребенок, даже по современным меркам. Хитрый, лживый, ленивый – в стремлении увильнуть от выполнения обязательных работ доходил почти до гениальности. Но если ему было что-то интересно – прилипал намертво, как дурная слава. Чем-то он напоминал Пал Тинычу Артема – хотя внешне ничего общего. Артем тощий, как марафонец, Вася, пожалуй что, склонен к полноте, из кармана торчит вечный пакет с сухариками. У Артема, как у Риты, – темно-рыжие волосы, Вася – белокурая бестия. Наверное, в отца пошел, мама

у него совсем другая – тоненькая печальная девочка со стрижкой, которую в советские годы называли «Олимпиада». Вася уже давно был выше и шире своей мамы. И вот эта девочка, на вид лет двадцати, – Инна Ивановна – пришла однажды после уроков к Пал Тинычу и сказала:

– У меня давно созрел к вам разговор, Павел Константинович.

Она поймала его на выходе из класса. Мимо бежал еврейский атлет Голодец – полы под его ногами пружинили, как новенький матрас. Остановившись у окна, этот румяный юноша примостил ногу на подоконнике, посплюнул палец и начал оттирать пятнышко на новых кедах – сразу было понятно, что они новые и что Голодец находится с ними в особенных, нежных отношениях.

Инна Ивановна тоже смотрела на Голодца, пока он не убежал наконец в столовую – там гремели ложки и командный голос Миши Карпова.

– Я не понимаю, что происходит с нашей школой, Павел Константинович, – сказала она, вновь четко выговаривая его отчество – ни одного звука не пропало. Пал Тиныч вдруг вспомнил, что Васина мама работает в банке – ей это подходило. Васиной маме легко можно было бы доверить крупную сумму.

– А что с ней происходит? – бодро переспросил он вслух, выигрывая время на группировку и подготовку. Речь могла пойти о самых невероятных вещах, потому что никогда не знаешь, что придет в голову родителям.

Из-за угла вышла, как месяц из тумана, мама двойняшек Крюковых. Она целыми днями бродила по школе, отлавливала учителей по одному и пытала их бесконечными расспросами. Ей страстно хотелось услышать про Дашу и Настю что-то хорошее – но, увы, хвалил их только физрук Махал Махалыч. Крюковы и вправду были спортивные, рослые и здоровые девицы – даже в святые дни эпидемии гриппа двойняшек привозили в школу, потому что они никогда и ничем не болели.

Крюкова посмотрела на Пал Тиныча, как голодная лиса на мышонка, и даже, кажется, облизнулась. К счастью, с ним была Инна Ивановна, а потому лиса неохотно свернула за угол. Месяц скрылся в тучах.

– Да много всего происходит! Вы разве не замечали? Программу по физике сократили. На русский всего три часа в неделю, на английский – пять. Расписание составлял кто-то нетрезвый – потому что в седьмом классе во вторник и в пятницу подряд три языка: немецкий, русский и английский. И все задания нужно делать на компьютере, и все они теперь называются проектами и презентациями.

– Ну не все, – осторожно вякнул Пал Тиныч. – Вот я, например...

– К вам у меня вопросов нет, – признала Инна Ивановна. – А вот информатика... Зачем вообще столько информатики? Дети должны создавать свои аккаунты, на уроках они сидят в интернете. Мой Вася и так там живет.

– Но вы же в банке работаете? – уточнил Пал Тиныч. – Вам, банкирам, обычно нравятся новые технологии.

Инна Ивановна посмотрела на него ошеломленно.

– А кто вам сказал про банк? Вася? Ой, ну вы уникальный человек, Павел Константинович, вы всё еще верите моему сыну. Я работаю в библиотеке. Отдел редкой книги.

Пал Тиныч удивился, но решил, что редкую книгу он бы ей тоже доверил. Потом историк молча задал вопрос, и получил ответ – вслух:

– За школу платит Васин папа. Бывший муж. Он и в Рим его возил, и в Париж... Слушайте, вас там, кажется, ждут.

Пал Тиныч обернулся, увидел Диану – она уже давно, судя по всему, стояла в коридоре, изображала, что изучает расписание уроков на стене. Знакомое до последней буквы.

– Я понимаю, что мои претензии не к вам, – Инна Ивановна, закругляя разговор, стала мягче, почти извинялась. – Может, к директору идти? Знаете, мне иногда кажется, что всё это – какой-то заговор. Против нас и наших детей.

При слове «заговор» Пал Тиныч вздрогнул, а Диана повернула голову, не скрываясь теперь, что подслушивает.

– Диана Романовна, я приду в учительскую через пятнадцать минут, – сказал историк, и его любовница вынуждена была процокать мимо на своих дециметровых каблуках – коленки у нее заметно сгибались при ходьбе. Пал Тинычу стало жаль Диану, и всё же вслух, для Инны Ивановны, историк сказал, что у них совещание, но он может немного опоздать.

– Если речь о заговорах, то здесь вы попали на специалиста, – засмеялся он. Довольно нервно, впрочем, засмеялся. Смех у него и в юности был не из приятных, а с годами вообще превратился в какой-то чайчий крик. Риту он раздражал невозможно. Вот и Васину маму напугал, но она терпеливо дождалась завершения смехового приступа.

– Мне кажется, – повторила она, – что вокруг делается всё для того, чтобы наши дети не получили образования – не то что хорошего, вообще никакого. Программу сжимают, педагогов посреди года отправляют учить новые стандарты. И эти праздники – ненавижу их!

Пал Тиныч тоже не любил школьные праздники – самодеятельные спектакли, в которых играли не дети, а в основном учителя и родители, беспомощное, несмотря на все старания Дианы, пение... А главное – ему было жаль времени, которое уходит на подготовку всех этих бесконечных праздников осени, весны, матери...

– У моего Васи – никаких базовых знаний. И вы же в курсе, какой он – не захочет, не заставишь. Ну и потом, какие-то вещи даже я не могу ему дать – только школа. А в школе из него делают, простите, идиота. Петь, рисовать и сидеть в интернете – куда он после этого пойдет? Кем станет?

У Тиныча был ответ на этот вопрос – Вася, как и многие наши дети, уедет за границу и станет иностранцем. Папа об этом позаботится.

Звонок прозвенел, мимо пронесся шестой класс, потом степенно прошествовали одиннадцатиклассники. Прыщи на лице главной школьной гордости – Алексея Кудряшова – походили на зрелые гранатовые зерна. Пал Тиныч вспомнил злобный шепот кого-то из родительниц, что Кудряшов «у репетиторов буквально живет». Будущий студент Оксфорда.

Васина мама тем временем говорила уже теперь словно сама с собой:

– Можно, конечно, нанять репетиторов, но зачем тогда учиться в лицее?

– А вот вас-то мне и нужно! – Пал Тиныч не заметил, когда рядом с ними вырос Махалыч. Физрук Васю терпеть не мог и предсказывал ему в жизни многие печали, потому что мальчик не любил футбол и не надевал на урок спортивную форму. Инна Ивановна безропотно пошла, ведомая Махалычем, к директору – разбирать очередной Васин проступок. Они с ней даже не попрощались толком, но Пал Тиныч был так взбудоражен этим разговором, что обидел Диану еще раз, и куда сильнее. Диана предлагала поехать сегодня к ней, даже не предлагала – просила и требовала, но Пал Тинычу нужны были свежий воздух и время, чтобы обдумать очередную теорию.

И был свежий воздух! В мае его навалом даже в Екатеринбурге – а тут еще рядом со школой липы на месяц раньше срока дали цвет. У природы тоже был свой заговор. Пал Тиныч шагал к своему любимому дендрарию – благо лицей был от него в двух кварталах, – шагал и думал о странном разговоре с Васиной мамой – и о том, что она, пожалуй, даже сама не понимает, насколько права.

Историк стал вспоминать последний лицейский год – и всё, что прежде проходило по разряду неприятных случайностей, вдруг обрело смысл и оказалось необходимым условием для заговорщиков, решивших лишить Россию образованного населения.

Подобно тому как птица вьет гнездо, собирая его по стебельку и соломинке и не брезгуя подобранным на ближайшей стройке мусором, Пал Тиныч строил свою теорию – и мог бы напомнить случайному зрителю какую-нибудь ворону, гордо летящую с трубочкой для коктейля в клюве. Да он и вообще мог напомнить собой ворону – у него был такой слегка сумрачный облик, нос-утес и брезгливые усики. Женщинам подобная внешность, как ни странно, нравится.

Всё сходится, думал Пал Тиныч, мы живем в тени большого заговора – и тень эта растет с каждым днем. Наших детей развращают компьютерными играми и сетевым видео – например, Вася давно уже ознакомился с процессом родоразрешения и шумно описывал его на одном из уроков истории, посвященном Петру Первому. Миша Карпов с компанией смотрят порнуху на телефонах – когда Мишин отец об этом узнал, его заинтересовал исключительно один момент: а что за порно, с девками? Ну и отлично, у мальчика правильная ориентация, по нашим временам надо быть благодарным и за это. И вообще, нужно же когда-то начинать.

Пал Тиныч вдыхал натуральный и при этом несомненно липовый аромат и думал дальше. Детей учат мыслить картинками, клипами – а ведь если эту стадию не перебороть вовремя, она так и останется основной. *Формирующей*, как сказала бы Юлия Викторовна, *личность*. Он знал это по Артему – когда играли в шахматы, сын не мог думать даже на один ход вперед и тем более учитывать действия соперника. Дети мыслят разорванными, несвязанными кусками, под которыми нет даже намек на какой-то фундамент. Фундамента попросту нет, никакого. Диана рассказывала, что ее первые ученики считали, что Бетховен – это собака, герой голливудского фильма. Сейчас этот фильм давно забылся, но и Бетховен истинный не вспомнился.

Заговор, решил Пал Тиныч, дойдя до центральной клумбы, еще не засаженной, но уже сладко пахнувшей распаренной, выпавшейся за долгие холода землей. Настоящий заговор, странно, что он сам до этого не додумался. Как бы ни насмехалась Рита, как бы ни молчала Диана. Зачем наших детей пытаются закрыть на ключ в интернете? Для чего окружают соблазнами, противостоять которым не сможет и взрослый? Почему всё это, в конце концов, служит, как выражаются врачи, «вариантом нормы»?

Пал Тиныч не считал себя педагогическим гением, тем более – спасителем русского народа или отважным одиночкой, бунтарем против общества. Он считал себя тем, кем, собственно, и был, – учителем истории, мужчиной средних лет, который никогда не уйдет от жены к любовнице и никогда не перестанет помогать своему сыну. Но в тот день жизнь Пал Тиныча, предсказуемая и скучная, как учебный план, на глазах стала вдруг превращаться в нечто новое и ценное. Заговорщики подобрались так близко, что Тиныч, кажется, мог ощущать их ядовитое дыхание, шевелившее листья с дьявольскими планами – учитель явственно видел эти листья разложенными на столе.

Рите, наверное, не следовало так старательно высмеивать слабость, которую питал Пал Тиныч к заговорам. Она считала, что он и в инопланетян однажды поверит, что это всего лишь вопрос времени. Но в заговоры верят не только глупцы и фантазеры – этот недуг довольно часто посещает тех из нас, кто не видит логики в окружающей жизни, не видит в ней смысла. Заговоры переодевали реальность Пал Тиныча в захватывающее приключение – которое так и не сбылось, хотя он честно мечтал о нем в детстве. Жюль Верн, Майн Рид, Буссенар – все они обещали приключения, но на выходе получился производственный роман, написанный исключительно ради денег.

Теперь же Пал Тиныч сам мог стать частью истории, а не смотреть на нее через окно в Европу...

В американских фильмах, на диете из которых вынужденно сидит каждый киноман, вся массовка – читай, вся страна! – довольно часто и всегда взволнованно поднимается на защиту одного человека, поправленных прав или ценного общественного завоевания. В кадре подсказкой звучит музыка – героическая, усиливающаяся с каждым тактом, – и на стороне героя, угнетен-

ного и одинокого в начале фильма, к финалу оказывается целая толпа. Так вот, Пал Тиныч готов был стать первым из тех, кто поднимется со своего места – и бросит вызов порочной системе.

Он так переволновался, что не мог уснуть до трех ночи и стащил у Риты таблетку снотворного. Но спал всё равно плохо и во сне видел, как борется с пластмассовыми солдатами – все они были трехметрового роста и побеждали.

Каникулы в этом году начались неожиданно и быстро – как весна в классическом русском романе. Пал Тиныч отработал обязательный месяц – целый июнь писал программы, занимался с двоечниками, всё как всегда. Но вечерами он теперь сочинял собственную программу – дерзкую и даже, на его собственный взгляд, бессистемную. Он вспоминал всё, что должны знать образованные люди, – музыка, философия, астрономия, поэзия, все музы лежали в его программе обнявшись, как тела в братской могиле. Конечно, ему не хватало знаний – июль он провел в библиотеке, закрывая пробелы, а вечерами *догонялся* в интернете. Диана удивлялась его внезапному интересу к истории музыки, но всё еще надеялась на общее будущее и потому терпеливо рассказывала про Гайдна, Бетховена – даже про Букстехуде. В августе программа была уже почти готова, а сам Пал Тиныч – готов к тому, чтобы начать битву. Он совсем потерял и так-то еле живой интерес к своей внешности, отпустил неряшливую бороду, и маленькая девочка в маршрутке, внимательно разглядев ее, громко сказала своей маме:

– У дяди борода, как у тебя – пися!

Вечером он побрился, и на лице его ubyло безумия.

Второго сентября после второго урока Пал Тиныча пригласили в кабинет к директору. Юлия Викторовна была на редкость приветлива, рассыпалась в своем бюрократическом красноречии мельчайшим бисером. *Вы настоящий профессионал,*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.